

Солёный лёд

Автор:

Виктор Конецкий

Солёный лёд

Виктор Викторович Конецкий

За Доброй Надеждой #1

Это одна из книг знаменитой путевой прозы Виктора Конецкого, которая стала первой частью романа-странствия «За Доброй Надеждой».

Эта книга – и путевые заметки, и дневник, и воспоминания. Нет четкого времени, автор пишет то, что видит, вспоминает встречи с разными людьми. Истории о том, как автор, из тех, кого зовут «морской волк», идет (а больше плавает) по жизни, занимаясь по найму любимым морским делом и писательством по совместительству. О том, как автор в качестве старшего помощника капитана перегоняет маломерные суда из Ленинграда в северные порты, о том, как в качестве штурмана большого морского корабля бороздит разные моря и океаны, заходя в иноземные порты, о том, как однажды в качестве журналиста он посетил Париж.

Виктор Конецкий

Солёный лёд

Не стоит ехать вокруг света ради того, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре.

Г. Д. Торо. Жизнь в лесу

Набережная Лейтенанта Шмидта

В феврале я узнал, что суда, на которые получу назначение, зимуют в Ленинграде у набережной Лейтенанта Шмидта, и пошел взглянуть на них.

После оттепели подмораживало, медленно падали с густо-серого неба белые снежинки, на перекрестках виднелись длинные следы тормозивших машин – был гололед.

Я вышел к Неве, дождался, когда милиционер отойдет подальше, спустился на лед и пошел напрямик через реку к низким силуэтам зимующих судов. На реке было тихо, городские шумы отстали, и только шуршала между низких торосов поземка.

Так она шуршала двадцать два года назад, когда я тринадцатилетним пацаном тем же путем спустился на лед и побрел к проруби с чайником в руках. Вокруг проруби образовался от пролитой замерзшей воды довольно высокий бруствер. Я лег на него грудью, дном чайника пробил тонкий ледок и долго топил чайник в черной невиской воде. Она быстро бежала в круглом окошке проруби. Мороз был куда сильнее, чем теперь, ветер пронизывал, а поземка хлестала по лицу. Я наполнил чайник, вытащил его и поставил сзади себя. И потом еще дальше возился со вторым чайником, пока зачерпнул воды. И тогда оказалось, что первый накрепко примерз своим мокрым дном ко льду. Я снял рукавицы, положил их на лед, поставил на них второй чайник и обеими руками стал дергать первый.

На набережной Лейтенанта Шмидта заухала зенитка. Это была свирепая зенитка. От нее у нас вылетело стекло из окна даже без бомбежки.

Я бил чайник валенками, дергал за ручку и скулил, как бездомная маленькая собака. Я был один посреди белого невиского пространства. И мороз обжигал даже глаза и зубы. И я не мог вернуться домой без воды и чайника.

Черт его знает, сколько это продолжалось. Потом появился на тропинке здоровенный матрос. Он без слов понял, в чем дело, ухватил примерзший чайник

за ручку и дернул изо всех своих морских сил. И тут же показал мне подковы на подошвах своих сапог – ручка чайника вырвалась, и матрос сделал почти полное заднее сальто. Матрос страшно рассердился на мой чайник, вскочил и пнул его каблуком.

– Спасибо, дядя, – сказал я, потому что всегда был воспитанным мальчиком.

Он ушел, не сказав «пожалуйста», а я прижал израненный чайник одной рукой к груди, а в другую взял второй. Из первого при каждом шаге плескалась вода и сразу замерзала в моей руке. От боли и безнадежности я плакал, поднимаясь по обледенелым ступенькам набережной...

И вот спустя двадцать два года я остановился приблизительно в том месте, где была когда-то прорубь, и закурил. «Интересно, жив ли тот матрос, – подумал я. – А может, он не только жив, но мы и сплавали с ним вместе не один рейс... Разве всегда узнаешь тех, с кем раньше уже пересекалась твоя судьба?»

Прямо по носу виднелся плавучий ресторан «Чайка», и я было взял курс на него, чтобы чего-нибудь выпить. Но вокруг ресторана лед был в трещинах, и я выбрался на набережную возле спуска, где торчит на самом юру идиотская общественная уборная. Такое красивое, знаменитое место – рядом Академия художеств, дом академиков, сфинксы из древних Фив в Египте – и круглая общественная уборная.

Я оставил уборную по корме, убедился в том, что ресторан закрыт на обеденный перерыв, выпил теплого пива у синего фанерного ларька, получил из мокрых рук продавца мокрую сдачу и медленно пошел вдоль набережной, рассматривая те суда, которые предстояло мне гнать на Обь или Енисей. Суда стояли тесным семейством, борт к борту, в четыре корпуса. Узкие и длинные сухогрузные теплоходы, засыпанные снегом. Два дизеля по триста сил, четыре трюма, грузоподъемность шестьсот тонн, от штевня до штевня около семидесяти метров – все это, вместе взятое, на обыкновенном морском языке называется «речная самоходная баржа». И утешаться следует только тем, что слово «баржа» похоже на древнее арабское «бариджа», обозначавшее некогда грозный пиратский корабль.

«Может, откуда-нибудь оттуда и „абордаж“?» – подумал я, рассматривая с обледенелой набережной свою близкую судьбу. Судьба выглядела невесело.

Иллюминаторы были закрыты железными дисками, с дисков натекли по бортам ржавые потеки, брезентовые чехлы на шлюпках, прожекторе, компасе почернели от сажи. На палубах змейками вились тропинки среди метровых сугробов. Тропинки, очевидно, натоптали вахтенные. Провисшие швартовые тросы кое-где вмерзли в лед.

– Ах, эти капельки на тросах, ах, эти тросы над водой, – бормотал я про себя. – Ах, корабли, которым осень мешает быть самим собой...

Именно мне предстояло приводить эти суда в приличный для плавания по морям вид. А пока смотреть на длинные гробики не доставляло никакого удовольствия.

И я пошел дальше по набережной Лейтенанта Шмидта. Я люблю ее. И лейтенанта Шмидта. Он один из главных героев детства.

Набережная – моя родина. Где-то здесь мы стояли в сорок восьмом году, с вещмешками за плечами, в белых брезентовых робах, в строю по четыре, и ждали погрузки на старика «Комсомольца». Мы отправлялись в первое заграничное плавание. На другой стороне набережной толпились все наши мамы и наши девушки. И только пап было чрезвычайно мало. У нашего поколения не может быть никаких разногласий с отцами хотя бы потому, что не многие своих отцов помнят. И когда сегодня я попадаю в семейство, где за ужином собираются вокруг стола отец, мать, дети и внуки, то мне кажется, что я попал в роман Чарской и все это совершенно нереально. И если я вижу на улице старика с седой бородой, неторопливой повадкой и мудростью в глазах, то мне кажется, что я сижу в кино. Потому что стариков у нас осталось очень мало. Их убили еще в пятом, в четырнадцатом, восемнадцатом, двадцатом, сорок первом, сорок втором и в другие годы.

А если ты вырос без отца и без деда, то обязательно наделаешь в жизни больше глупостей.

Да, от гранита этой набережной я первый раз ушел в плавание на старом большом учебном корабле с тремя трубами. Когда-то он назывался «Океан», а потом стал «Комсомольцем». На кнехтах остались старинные надписи: «Океань». Кажется, как вспомогательный крейсер-старик принимал участие в Цусимском бою.

Нас набили в его огромные кубрики по самую завязку. Мы качались в парусиновых койках в три этажа. И когда по боевой тревоге верхние летели вниз, то нижним было больно.

А самой веселой у нас считалась такая провокация. Тросики верхней койки смазывались салом. Это делалось, конечно, втайне от хозяина. Хозяин спокойно залезал к себе под потолок и засыпал. Ночью крысы шли по магистралям к вкусным тросикам и грызли их. Тросики рвались, и жертва летела на спящего внизу. Подвесная койка – не двухспальная кровать, она рассчитана строго на одного. Когда в ней оказывалось двое, она переворачивалась. И уже втроем жертвы шлепались на стальную палубу. Грохот и проклятия будили остальных.

И с нами вместе тихо посмеивался старый «Комсомолец». Наверное, ему было приятно возить в своем чреве восемнадцатилетних шалопаев.

Старика разрезали на металлолом всего года два назад.

Мы ходили на нем в Польшу – возили коричневый брикетированный уголь из Штеттина в Ленинград.

Я помню устье Одера, вход в Свинемюнде, два немецких линкора или крейсера, затопленных по бокам фарватера. Их башни торчали над водой, и волны заплескивали в жерла орудий. Мы прошли мимо и увидели неожиданно близкую зелень берегов Одера. А в канале детишки махали нам из окон домов. Дома возникали метрах в двадцати от наших бортов.

Мы первый раз в жизни входили в чужую страну по чужой воде. Мы стояли на палубах и ждали встречи с чем-то совершенно неожиданным, удивительным. Мы думали открыть для себя новый мир. Недаром в детстве я считал слово «заграница» страной и писал его с большой буквы. Теперь-то я знаю, что все люди на земле живут одними заботами, а потому и очень похожи друг на друга.

И мы вошли в Штеттин. Обрушенные мосты перегораживали реки и каналы. Кровавые от кирпичной пыли стены ратуши были единственным, что уцелело в городе. Союзная авиация постаралась. Руины густо заросли плющом. Плющ казался лианами.

Мы ошвартовались, и человек сто пленных немцев закопошились на причале, готовясь к погрузке. Они подавали уголь на борт и ссыпали его в узкие горловины угольных шахт. А мы работали в бункерах, в кромешной тьме и пыли. И все мы были совершенными неграми. А после работы мы развлекались тем, что кидали пленным на причал пачку махорки. Немцы бросались в драку из-за нее под наш залихватский свист.

Война только что кончилась. Мы хотели есть уже шесть лет подряд. Шесть лет мы хотели хлеба в любой час дня и ночи. И мы были по-молодому жестоки. Когда здоровенные немцы лупили друг друга на причале, мы получали некоторое удовольствие. Это было, из песни слова не выкинешь.

И еще помню: один из пленных договорился с нами, что если он переберется по швартовому тросу на борт корабля, то получит целую пачку махорки. Метров пятнадцать-двадцать толстого стального швартова, скользкого и в проволочных заусеницах.

Немец отважно повис на тросе и пустился в путь на руках. Посередине он выдохся и замер над мутной одерской водой. Его друзья орали что-то с причала. А мы начали готовить спасательные круги. Немец попытался закинуть на трос ноги, но у него это не получилось и он шлепнулся в воду с высоты семи метров под наши аплодисменты.

Мы вытащили немца и дали ему три пачки махорки за смелость. И после этого случая как-то даже подружились с пленными. Может быть, это произошло и потому, что все мы от угольной пыли одинаково походили на негров.

Я вспомнил свою юность и отправился дальше по набережной Лейтенанта Шмидта, думая о том, что лейтенант, очевидно, был из немцев и как все у нас с немцами перепуталось. Вот я скоро пойду в море на судне, построенном в ГДР. Оно сейчас зимует совсем недалеко от проруби, в которой я брал воду двадцать два года назад по вине немцев. А лейтенант Шмидт геройски погиб за нашу революцию и за то, чтобы на земле никогда

не было войн. А вот стоит памятник первому русскому плователю вокруг света Ивану Крузенштерну. И более странное сочетание – «Иван» и «Крузенштерн» – придумать трудно. Правда, адмирал не был немцем, он эстонец.

Адмирал стоял высоко надо мной, обхватив себя за локти. Снег украшал его эполеты. Он добро глядел на окна Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе.

Ваня Крузенштерн покинул это здание много-много лет назад, а теперь стоит здесь и не уйдет больше никогда.

Во времена моей юности среди курсантов бытовала история, связанная с адмиралом. Какой-то курсант познакомился на танцах с девушкой. И девушка, наверное, сразу полюбила его, и они даже поцеловались где-нибудь за портьерой. И когда расставались, то девушка спросила, как можно найти его в училище, она хочет повидать его еще до следующей субботы, потому что семь дней – это ужасно длинный срок. А курсант был веселым парнем, и девушка, вероятно, нравилась ему меньше, нежели он ей. И он сказал:

– Приходи на проходную и спроси Ваню Крузенштерна. Меня все знают.

И она пришла уже в понедельник и спросила у дежурного мичмана Ваню Крузенштерна. Дежурный мичман взял ее за руку, вывел на набережную и показал на памятник:

– Иди к этому памятнику. Твой парень стоит сейчас там, – объяснил он.

И она пересекла набережную, ступая по мокрому асфальту своими единственными туфельками на каблучках, и все оглядывалась по сторонам, чтобы скорее увидеть Ваню. И наконец прочитала надпись на цоколе: «Первому русскому плователю вокруг света Ивану Крузенштерну». Адмирал добро глядел мимо нее, и кортик неподвижно висел у его левого бедра.

Но какое дело девушкам в туфельках на каблучках до бронзовых адмиралов? Она заплакала и ушла, чтобы не возвращаться. Вот какую историю рассказывали в наше время про Ваню Крузенштерна.

Это избитая истина: как только вспомнишь юность, становится грустно. Вероятно, потому, что сразу вспоминаешь друзей своей юности. И в первую очередь уже погибших друзей.

Здесь, возле памятника Крузенштерну, я последний раз в жизни видел Славу.

Тот же влажный ленинградский ветер. Промозгло, серо. Тот же подтаивающий серый снег на граните. И купола собора, лишенные крестов и потому кургузые, незаконченные, тупые.

И так же точно, как теперь, я выпил подогретого пива в маленьком ларечке недалеко от моста Лейтенанта Шмидта, закурил, засунул руки в карманы шинели и пошел по набережной к Горному институту, вдоль зимующих кораблей, вдоль якорных цепей, повисших на чугунных пушках. И ветер с залива влажной ватой лепил мне глаза и рот. И я думал о прописке, жилплощади и мечтал когда-нибудь написать рассказ о чем-нибудь очень далеком от паспортисток и жактов.

И у памятника Ване Крузенштерну встретил Славу.

Он шагал по ветру навстречу мне, подняв воротник шинели и тем самым лишней раз наплевав на все правила ношения военно-морской формы. На Славкиной шее красовался шерстяной шарф голубого цвета, а флотский офицер имеет право носить только черный или совершенно белый шарф. Из-за отворота шинели торчали «Алые паруса» Грина. А фуражка, оснащенная совершенно неформенным «нахимовским» козырьком, выпиленным из эбонита, сидела на самых ушах Славки.

Надо сказать, что за мою юношескую жизнь творения Александра Грина несколько раз делались чуть ли не запретными. А Славка всегда хранил верность романтике и знал «Алые паруса» наизусть.

Славка прибыл к нам в военно-морское училище из танковых войск. Он попал в танковые войска из-за какой-то темной истории.

В шестнадцать лет Славка связался со шпаной. Это, наверное, были смелые ребята. И тем они пленили его. Кто из нас, шестнадцатилетних, не мечтал проверить свое мужество на чем угодно, если судьба помешала нам принять участие в боях?

Однажды Славку попросили постоять на углу и посмотреть, не идет ли милиционер. В воздухе пахло опасностью, и Славка не мог отказаться. А его

друзья ограбили квартиру. Их поймали, и Славке грозила статья за соучастие. Он прибавил себе лет в метрике и добровольно ушел в армию, попал в танковые войска и стал механиком-водителем. От работы с фрикционами плечи у него раздались, обвисли, а руки стали железной хватки.

Служить в танковых войсках тяжело, особенно зимой. Но Слава нес свою службу без уныния. Все самое тяжкое забывалось, когда он чувствовал свою власть над мощной машиной, ее послушность, ее дерзость, ее желание рвануться в бой. И когда падали впереди деревья и грохались на броню комья мерзлой земли, Слава бывал счастлив. Наверное, он здорово привык к тесному мирку танка, потому что потом стал подводником.

Начальство всегда считало его разгильдяем. И, пожалуй, не без оснований. Все, что не было романтичным в его понимании, не могло его интересовать. В те уже далекие послевоенные времена казалось, что конец войны сразу должен означать начало чего-то прекрасного, легкого, свежего. Но началась «холодная война», воздух общественной жизни тяжелел. И мы в своих казармах половину времени думали о шпионах. Единственной отдушиной были книги Паустовского, его настроенческая проза, проникнутая грустной мечтой о красоте.

Мы были молоды, и многое путалось в наших головах. И в Славкиной тоже. Когда-то он мечтал стать кинорежиссером, прочитал уйму американских сценариев и рассказывал нам их. И ночами слушал джаз. Он владел приемником, как виртуоз скрипач смычком. Из самого дешевенького приемника он умел извлекать голоса и музыку всего мира. Учился он паршиво. Но великолепно умел спать на лекциях. Великолепно умел ходить в самовольные отлучки. И ему дико везло при этом. Наверное, потому, что у Славки совершенно отсутствовал страх перед начальством и взысканиями.

Я не знаю другого человека из военных, которому было бы так наплевать на карьеру, как Славке.

Он учил меня прыжкам в воду. И мы однажды сиганули с центрального пролета моста Строителей и тем вывели из равновесия большой отряд водной и сухопутной милиции. Для меня это был последний такой прыжок. В те времена я увлекался гимнастикой и большую часть времени в перерывах между занятиями проводил головой вниз, отрабатывая стойку на кистях. Эта стойка меня и подвела. С большой высоты я врезался в воду чересчур прогнувшись, ударился глазами и чуть не поломал позвоночник.

А Славка повторил прыжок уже с Кировского моста. Он ухаживал за какой-то девицей, а она пренебрегала им. Тогда он вызвал ее на последнее роковое свидание и явился одетый легко – в бобочке и тапочках. И они зашагали через мост. На центральном пролете Слава мрачно спросил:

– Ты будешь моей?

– Нет, – сказала она.

– Прощай! – сказал Слава и сиганул через перила с высоты шестнадцати метров в Неву.

И тут девица заметалась между трамваями и автомобилями. А Слава выплыл где-то у Петропавловской крепости. Конечно, если б он не начитался предварительно американских сценариев, то не додумался бы до такого способа воздействия на женскую психику. Правда, девица в отместку за пережитый страх дала Славке по физиономии. И они расстались навсегда.

При всем при том Слава имел внешность совершенно невзрачную, был добродушен, и толстогуб, и сонлив. Но не уныл. Я никогда не видел его в плохом, удрученном состоянии. Он радостно любил жизнь и все то интересное, что встречал в ней. Его не беспокоили тройки на экзаменах по навигации и наряды вне очереди. Он выглядел философом натуральной школы и чистокровным язычником. Естественно, такие склонности, и запросы, и поведение не могли нравиться начальству. Больше того, его выгнали бы из училища давным-давно, не умеи он быть великолепным Швейком. Его невзрачная, толстогубая физиономия напрочь не монтировалась с джазовыми ритмами, и самовольными отлучками, и любовью к выпивке.

И вот мы встретились с ним на набережной Лейтенанта Шмидта в середине пятидесятих годов.

– Ты бы хоть воротник опустил, – сказал я.

– У меня недавно было воспаление среднего уха, старик, – сказал он.

Мы не виделись несколько лет. Я служил на Севере, а он на Балтике. Я плавал на аварийно-спасательных кораблях и должен был уметь спасать подводные лодки. А он плавал на подводных лодках.

- Здорово! - сказал я.

- Здорово! - сказал он.

И мы пошли выпить. В те времена на углу Восьмой линии и набережной находилась маленькая забегаловка в подвале.

Я уговаривал его бросить подводные лодки. Нельзя существовать в условиях частых и резких изменений давления воздуха, если у тебя болят уши.

- Потерплю, - сказал Славка. - Я уже привык к лодкам. Я люблю их.

Через несколько месяцев он погиб вместе со своим экипажем.

Оставшись без командира, он принял на себя командование затонувшей подводной лодкой. И двое суток провел на грунте, борясь за спасение корабля. Когда сверху приказали покинуть лодку, он ответил, что они боятся выходить наверх - у них неформенные козырьки на фуражках, а наверху много начальства. Там действительно собралось много начальства. И это были последние слова Славы, потому что он-то знал, что уже никто не может выйти из лодки. Но вокруг него в отсеке были люди, и старший помощник командира считал необходимым острить, чтобы поддержать в них волю. Шторм оборвал аварийный буй, через который осуществлялась связь, и больше Слава ничего не смог сказать.

Когда лодку подняли, старшего помощника нашли на самой нижней ступеньке трапа к выходному люку. Его подчиненные были впереди него. Он выполнил свой долг морского офицера до самого конца. Если бы им и удалось покинуть лодку, он вышел бы последним. Они погибли от отравления. Кислородная маска с лица Славы была сорвана, он умер с открытым лицом, закусив рукав своего ватника.

Я остановился возле Горного института и в память Славки снял шапку, глядя на простор неевского устья, на гигантские красные корпуса строящихся танкеров, на далекие краны порта.

Вечерело, снег все крутился в сером воздухе, звякали трамваи, и гомонили на ступеньках горного института студенты.

Я устал от воспоминаний.

«Это дело тоже требует большого напряжения», – подумал я. И пошел к трамваю. Надо было ехать домой и готовиться к техминимуму, листать учебники по навигации и повторять «Правила предупреждения столкновения судов в море». Ничто так легко не забывается, как эти правила. Их приходится повторять всю жизнь.

Середина жизни

1

Тридцать пять лет считается серединой жизни. Многие в этом возрасте попадают в кризис. Например, Данте в тридцать пять тоже затосковал:

Земную жизнь пройдя до половины,

Я очутился в сумрачном лесу,

Утратив правый путь во тьме долины...

Утратив правый путь, Данте сел и написал «Божественную комедию». Ему утрата правого пути помогла войти в бессмертие. А у меня «Божественная комедия» не получалась.

Мой первый рассказ был о детской любви, седом капитане и очаровательной художнице, которую я поместил почему-то на Шпицберген, хотя никогда там не был. Вероятно, я исходил из того, что Данте тоже не был в аду. Мурашки бегали

по коже от восторга, когда я перечитывал свое сочинение. Оно характерно абсолютным отсутствием какой-либо мысли.

В литобъединении, где мы проходили свои университеты, существовал специальный литературоведческий термин: «писать животом», что означает писание без помощи головы. Я хорошо усвоил этот метод, потому что пользовался им с раннего детства, чисто интуитивно впитал его, никто в меня его не вколачивал. А то, что в тебя не вколачивают, почему-то впитывается особенно крепко.

Лет в тридцать меня потряс Довженко. Он сказал, что «писатель, когда он пишет, должен чувствовать себя равным самому высокому политическому деятелю, а не ученику или приказчику».

Не знаю, поднимался ли сам Довженко до таких вершин, но мне стало ясно, что писать надо бросить. Каким я могу быть политиком, если не знаю толком истории мира и своей собственной страны, не знаю многих знаменитых произведений литературы, не знаю иностранных языков и если на голову мою за сравнительно короткую жизнь свалилось вполне приличное количество всякой путаницы.

Но писать я не бросил, потому что обнаружил у Довженко эгоцентризм и выпячивание писательской профессии. По Довженко получается, что обыкновенный, непишущий человек имеет право быть всю жизнь учеником или даже приказчиком.

«В том-то и дело, – успокоил я себя, подумав, – что у нас каждый должен быть политиком. Читатель зачастую знает о жизни не меньше писателя. А часто и больше. И политик он лучший, потому что бывает смелее. Разница между писателем и читателем сегодня только в том, что писателю Бог дал способность или нахальство для писания, а читатель только читает».

Около года я продолжал спокойно работать над четырехтомной эпопеей.

И вдруг узнал, как поразился Томас Манн вопросом, который Чехов все задавал и задавал себе: «Не обманываю ли я читателя, не зная, как ответить на важнейшие вопросы?»

Это поразило и меня. Я точно знал, что не могу ответить на важнейшие вопросы современности. Я в этом не сомневался.

Работа над эпопеей застопорилась.

Но потом я как бы опять прозрел: ведь если не мог ответить сам Чехов, то мне и подавно можно не отвечать. Томас Манн был согласен с моим заключением. Он писал: «Так уж повелось: забавляя рассказами погибающий мир, мы не можем дать ему и капли спасительной истины. И несмотря на все это, продолжаешь работать, выдумываешь истории, придаешь им правдоподобие и забавляешь нищий мир в смутной надежде, в чаянии, что правда в веселом обличье способна воздействовать на души ободряюще и подготовить мир к лучшей, более красивой, более разумно устроенной жизни».

Я продолжал работу над эпопеей, стараясь показывать правду в веселом обличье. Сперва мне казалось, что это много легче, нежели отвечать на все важнейшие вопросы. Путь к правде давным-давно известен: надо быть искренним – вот и все. Смущало только, почему Толстой так ценил искренность в том же Чехове, например: «Он был искренним, а это великое достоинство: он писал о том, что видел и как видел... И благодаря искренности его, он создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы письма, подобных которым я не встречал нигде!»

Значит, чтобы быть искренним и создать новые для всего мира формы, надо писать о том, что видишь и как видишь. А что и как вижу я?

Вот этот вопрос я и задал себе в тридцать пять лет. И попал некоторым образом в положение сороконожки, у которой спросили, с какой ноги она начинает прогулку.

Перечитав эпопею, я обнаружил, что все написанное писал не я, а черт знает кто. Быть может, тот, кого я из себя изображаю. Быть может, доктор-окулист, который еще в детстве прописал мне по ошибке очки от близорукости.

Я смутно понял, что стать самим собой так же трудно, как поехать на Невский проспект, вылезти у Казанского собора, раздеться в скверике донага и – мало того – в голом виде забраться на постамент к Барклаю де Толли.

Во-первых, холодно – простудишься и заболеешь воспалением легких. Во-вторых, опасно – прямо с Барклая де Толли тебя могут отправить в милицию или сумасшедший дом. В-третьих, все это окажется так некрасиво, что потом от стыда повесишься сам.

Живо представив себя на цоколе памятника Барклаю де Толли, я понял, что меня скорее всего элементарно побьют.

Эпопея рухнула. Город давил на мозг.

И я отправился в деревню, в те псковские святые места, куда наш брат писатель ездит в разные трудные моменты жизни. Приезжают выгуливаться после длительного служебного застолья. Или попробовать чудесных солений и варений старожилов этого края. В круглые и полукруглые литературные даты там устраивают поминки и даже парады, которыми командуют литературные генералы.

Приезжают сюда и за вдохновением, когда последнее угасло. Эти напоминают магометанских женщин, молящихся у могилы святого о прекращении бесплодия.

2

Была зима, мороз, снега, ранний вечер, черный лес, белые березы и красное солнце за холмами.

Заиндевелые лошадки тащили сани, из саней падали на снег охапки зеленого сена. Накатанные санями колеи блистали под низким солнцем, как стальные рельсы.

Меня приютили две чудесные девушки. Они отдали мне одну комнату в маленьком деревенском домике на окраине. Только промерзшая почта и продуктовый синий ларек стояли рядом с домиком.

Глубокие снега рождали вокруг глубокую тишину. За домиком падал к речке обрыв. По обрыву росли ольхи и рябины, они стучали по ночам обледенелыми ветками. А за яблоневым садом виднелся старинный барский дом и строения усадьбы.

Мои хозяйки рано утром, еще в полной темноте, поднимались на работу. Они хохотали, споласкивая свои носы ледяной водой, и топали валенками, чтобы согреться, – к утру домик совершенно промерзал. Но девушки умели смеяться любому пустяку и смехом помогали себе и другим жить. Они баловали меня, сами приносили дрова из сарая, и становилось неудобно из-за этого. И когда морозные поленья с грохотом летели на пол возле печки, мы ругались. Я ругался, высунув из-под одеял только кончик своего носа. А они ругались и хохотали, отряхивая со своих пальтишек щепки и цепкий снег. Потом они исчезали, кинув на птичью кормушку возле крыльца крошек или крупы. И когда синий рассвет начинал пробиваться сквозь замерзшие стекла, я слышал через стенку домика стук птичьих носов по дну кормушки.

Я вылезал из-под одеял, дрожал, закуривал и топил печки. И когда с оконных стекол сползал лед, садился к столу. Все тот же лист торчал из машинки, и отчаянье захлестывало душу. Работа не шла, а тут еще надвигался очередной период безденежья.

«Мы все торопимся, – думал я. – Зачем? Правильно ли торопить время? Мы живем один раз, и надо помнить об этом. Разве успеешь понять себя, если все время торопишься? Размышления предполагают спокойствие. Надо тихо читать тихие и мудрые книги. Надо впитывать знания, быть может, тогда что-нибудь прояснится».

Я бросал машинку и брал «Жизнь в лесу» Генри Торо. И сразу он начинал меня злить. И я ловил себя на черной зависти к знаменитым людям. Предположим: «Не стоит ехать вокруг света ради того, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре» – это мудро, коротко, блистательно и вроде бы неопровержимо. Но неопровержимо только для среднего, обыкновенного человека. А сам Генри Торо мог сказать: «Стоит, черт возьми, ехать вокруг света, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре!» И опять это будет мудро, коротко, блистательно, бессмертно. Почему? Потому что это говорит известный человек. В его высказываниях так много мудрости, что она не просыплется и не прольется, даже если ее перевернуть вверх ногами. Или вот поговорка: «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь». А если сказать «За тремя зайцами погонишься – одного поймаешь» – попробуй опровергни такую пословицу, если она занесена в сборник как народная мудрость! Но если придумал ее я, то она равным счетом никакой ценности не имеет.

За окном начинался солнечный зимний деревенский день. Чистота небес и легкость инея на ветвях елей. И многоцветье зимних лиственных перелесков.

Все цвета радуги хранит в себе зимний лес, только все они чрезвычайно нежны – и слабая зелень ольховых стволов, и прозрачная малиновость кустов, и желтизна тополей, и припудренная снегом коричневость дубов.

Летом листва буйством своих красок затмевает красоту древесных стволов. И потом стволы деревьев плохо освещены летом. А зимой снег отражает лучи света, и они снизу до самого верха высвечивают деревья. Удивительно многоцветны и нежны русские леса зимой, если к ним присмотреться.

И когда сидение за столом доводило меня до головной боли, когда пустота в душе делалась уже нестерпимой, я уходил на лыжах в лес.

Но беда в том, что моряки редко бывают чемпионами мира по слалому. Это теперь появились водяные лыжи. Когда я переживал спортивный возраст, на такие забавы не было бензина. И нормы ГТО по лыжам мы сдавали на городском кладбище, покуривая в сугробах между могил, и отсчитывали вслух время, потому что боялись прибыть на финиш раньше Джима Черная Пуля и удивить старшину-физрука. И он, и мы знали, что честно пробежать дистанцию может только Гешка по прозвищу Конспект.

Потому я и теперь плохо хожу на лыжах и падаю на могильных холмиках. А падать и бояться горок противно, даже если никто тебя не видит.

После каждого падения я ругался и понимал, что с эпопеей дело швах.

Если принять определение творчества как стремление к истине, то вдохновение, на мой взгляд, это восторг и восторженная тревога от предчувствия своей близости к истине. И вот этой близости во мне не было и в помине.

Мои чудесные хозяйки знали, что я не притворяюсь, что я в тяжких мучениях. И они жарили на ужин великолепные котлеты, и читали прекрасные стихи, и даже приносили иногда промерзшую, в курчавых от инея бутылках, водку. И мы пили эту водку вечером, и нам становилось хорошо. Электричество гасло часов в десять, мы сидели при свечах и топили печки. Домик нагревался, чудесно было. Водка принимала на себя груз моей запутанности и тоски. И я уже верил, что

утром работа пойдет. Наверное, совсем не следует пить водку, если у человека не получается писание...

Я прожил на Псковщине больше месяца, когда получил письмо от капитана дальнего плавания Клименченко. Он писал: «Виктор, до меня дошли слухи, что твоя литература дала задний ход и отдала оба якоря. В этом году у нас намечается большой перегон на Север, и есть возможность устроить тебя старшим помощником капитана на одно из наших судов. На эту тему я уже говорил с нашим морагентом в Питере. Деньги платят приличные. Нужно вспомнить „Правила предупреждения столкновения судов в море“. Мои литературные дела пока тоже плохи – повесть обкорнали с двух концов. Жму твой плавник. Ю. Д.».

Я почувствовал его добрый большой плавник на своем плавнике, но не испытал оживления. «Хватит перегонов! – сказал я себе, как некогда сказал один мой герой. – Я уже стар для них. Хватит считать матросские кальсоны, и проверять свистки у спасательных жилетов, и писать бесконечные ведомости

и акты. Если я пойду еще в море, то только в хороший, интересный рейс. И только на человеческом, настоящем судне, а не на речном кораблике в Арктику. Хватит Севера. Он уже стоит поперек глотки. И у меня пошаливает сердце. И давно пора для общего развития навестить какие-нибудь жаркие страны, а не остров Вайгач и остров Диксон. И потом, перегон ничем не поможет мне в писании, потому что я уже писал о перегонах, и еще двадцать человек писали, и это уже смертельно надоело всем на свете».

Но я был тронут пожатием доброго плавника.

– Лис! – сказали мне мои хозяйки. Они так называли меня за хитрую физиономию. – Киса! – сказали они, чтобы все это звучало веселее. – Брось, не уезжай! Уже скоро будет весна, и мы сделаем тебе салат из одуванчиков! Брось, Лис!

– Я суровый морской кот, а не киса, – сказал я. – И женщины не могут удержать меня возле своих юбок.

– Мы будем ходить в брюках! А ты простудишься в Ледовитом океане, и твоя мама умрет с горя, Лис! Хочешь чаю?

– Нет, не хочу.

– А пива хочешь?

Им было скучновато жить среди снежных полей и промерзших лесов уже много лет. И работа зимой у них была скучнее и тяжелее и гостей приезжало зимой меньше.

– У, Лис... путешественник! – сказали мои хозяйки. – Весной у нас всегда можно достать парного молока. Хочешь парного молока, Лис? – издевались они надо мной.

– Что вы знаете о море? – спросил я у них.

И рассказал несколько жутких историй об авариях, штормах и гибели судов от прямого попадания метеоритов. Я рассказывал на чистокровном морском жаргоне. Ох, сколько есть на море и всякой прозы, и скуки, и бумаги, и тоски. Но почему-то забываешь об этом на берегу. И, рассказывая, я уже понял, что пойду на перегон опять. Я решил, что если начну работать естественную человеческую работу, и нести ответственность за людей, и получать за это каждый месяц деньги, то, может быть, совесть моя облегчится, я потихоньку втянусь в судовые заботы, отдохну от литературы, отойду от нее вдаль.

Мосты и реки

Темной июльской ночью мы снялись на Салехард от набережной Лейтенанта Шмидта, дали ход, включили ходовые огни и выключили стояночные. Наши якоря были готовы к немедленной отдаче, потому что впереди нас ждали мосты.

Мосты для сухопутных людей простая, как тарелка, вещь. А для судоводителя Кировский, например, мост – чрезвычайно коварная штука. Если идти в разводной пролет, течение кидает судно в разные стороны два раза. И береговой бык этого моста обшит здоровенными, лохматыми от ударов бортов, бревнами.

Мы не пошли в разводной пролет Кировского моста; мы, нарушая правила, устремились в центральный. И хотя предварительно был убран с рубки прожектор, срублены обе мачты и шлюпбалка рабочей шлюпки, было страшно идти полным ходом в стремительно приближающуюся низкую дыру пролета. Я стоял на крыше рубки, подняв над головой руку, и пытался определить на глаз – проскальзываем мы или нет. Это было довольно бессмысленное занятие. Идти надо было только полным ходом, иначе течение могло сыграть злую шутку. И предупреждающий крик ничего не мог значить.

Я невольно присел, когда черная тень моста накрыла судно. Пальцы коснулись несколько раз шершавого металла, гулко ухнули о быки поднятые судном волны – и мост остался позади.

Было два часа ночи. Со всех сторон двигались красные, зеленые и белые огни других судов. Разводка длится меньше часа. И все стремятся обогнать друг друга.

Ленинград летел по обоим бортам. Наш СТ тупым носом давил Неву, пересиливая ее течение. И уже надвигались ажурные конструкции Охтинского моста.

Как странно ощущаешь родной город, когда идешь вверх по Неве в глухой ночи. Я первый раз шел так не пассажиром; стоял на крыше рубки, обвеваемый теплым летним ветром. И мне казалось, что этот ветер дует из прошлых веков.

Знаете состояние человека, который после обеденного компота все не может разгрызть абрикосовую косточку? Она вертится у него во рту, отвлекая внимание. А человеку надо делать серьезную работу. И вот он не может почему-то расстаться с косточкой, выплюнуть ее. Хотя и понимает, что главное сейчас – забыть о ней и заняться делом. Мне надо было помогать капитану, а в голове вертелись остатки школьных знаний по истории.

Мы проходили Большой Охтинский мост в неразводной левобережной части. Именно здесь была шведская крепость Ниеншанц. Вот здесь, где стоят теперь дежурные ночные трамваи, дожидаясь, когда мы пройдем мосты. А справа, где виден на набережной зеленый огонек такси, был шведский порт Сабина. Петр его разрушил и на его месте построил Смольной двор. Теперь здесь Смольный, а раньше хранилась смола для всего Балтийского флота.

На траверзе Александро-Невской лавры мы разошлись с буксиром, который тащил две огромные баржи.

Там, где сейчас построен новый мост, по нашему правому борту, на топком берегу, среди хилых осин и кустов ивы Александр Невский дрался со шведами шестьсот лет назад.

И трупы павших приняла вот эта, городская теперь, асфальтовая земля.

– Виктор Викторович, – сказал мне капитан Володя Малышев. При исполнении служебных обязанностей мы обращались друг к другу по имени-отчеству и на «вы». – Скоро подойдем к нефтебазе.

– Есть, – сказал я и выплюнул абрикосовую косточку, то есть занялся своим прямым делом: приказал дать воду в пожарную магистраль.

На траверзе Усть-Ижоры косточка опять попала мне в рот. Я вспомнил, что здесь удалой Гаврила Олексич с таким пылом преследовал мерзавца Биргера, что заехал к шведскому витязю на корабль верхом на своем боевом коне. Тут шведы сбросили Гаврилу в Неву, но он невредимым выплыл вместе с конем и сразу зарубил шведского воеводу Спиридона; Ладога и Новгород были спасены.

Такого количества шведов, как на берегах Невы, не было даже у Колдуэлла в рассказе «Полным-полно шведов». И подумать только, что теперь это самый миролюбивый и нейтральный народ! А сколько нервов они испортили новгородцам!

В Петрокрепости мы заночевали. Здесь я запомнил только два интересных момента. Один – когда какой-то подозрительный старик-провокактор спросил у меня:

– Почему, сынок, Петр Великий только на двести лет дома строил?

– Чего? – переспросил я.

– То, что он построил, до сих пор целехонько стоит, а что в прошлом годе сгрохали, то сегодня уже облупляться начинает! – с укором сказал мне старик-провокактор и ушел.

Действительно, петровские шлюзы и доки еще прилично выглядят. Построены они из гранита. А сам городок производит впечатление заштатное.

Второй интересный момент – уничтожение девиации по речному способу. Девиация – это довольно подлый угол между магнитным меридианом и осью компасной стрелки на судне. Именно этот угол привел детей капитана Гранта в пиковое положение. У нас не было Айртона, но угол получался слишком большим, и его следовало уменьшить и определить. На море мне много раз приходилось этим заниматься, но такой способ уничтожения, как ныне в Петрокрепости, бывшем Шлиссельбурге, древнем Орешке, шведском Нотебурге, когда-то в просторечии Шлюшине, я узнал впервые.

Мы привязали нашу самоходку двумя стальными швартовыми к палу (в просторечии – столбу), а девиатор командовал: «Выводи на тот куст! Чуть левее! Так держи!» Мы подрабатывали машинами и держали нос на куст. Девиатор делал свое дело быстро и точно, мы вертелись вокруг пала не больше получаса. После чего капитан угостил девиатора водкой, а я повесил над столом в ходовой рубке аккуратные таблицы девиации.

Ведя судно по штилевому и ласковому летнему Ладожскому озеру, я пересекал путь, по которому ехал на полуторке ранней весной сорок второго года. Полуторка шла по льду, знаменитой Дорогой жизни. Поверх льда уже стояла вода, она плескала среди снежных, высоких обочин трассы. И холодный туман витал над трассой. И немцы стреляли по нам из минометов.

И все, кто был в кузове, объединили свои одеяла и накрылись с головами, чтобы не замерзнуть. А шоферская дверца была открыта, чтобы водитель успел выскочить, если машина провалится в майну.

Все это я помню неточно. И не знаю, где то, что было, и где то, что потом придумалось.

Я помню, что высунул голову из-под одеял и видел снеговые четырехугольные укрытия от ветра, в которых прятались регулировщики. Это было как во «Взятии снежного городка» Сурикова. И помню, как навстречу шли одна за другой машины, груженные мясными тушами и мешками с мукой. И как стреляли зенитки. И как ушло на дно Ладоги несколько автобусов с детишками-сиротами. Они ехали впереди нас и провалились в дыру, оставшуюся после взрыва снаряда или бомбы. И помню огромные воздушные пузыри, которые поднимались из воды на том месте, где ушли под лед автобусы. И помню женщину, стоявшую на коленях, увязшую в ледяной грязи на выезде с Ладоги на берег. Она была мертва.

А потом нам выдали по эвакуодостоверениям жирную гречневую кашу. И начался понос. И началась дорога к станции Тихорецкой, но только станцию взяли немцы, пока мы ехали к ней. И тогда эшелон завернули на Фрунзе...

Теперь мы вели свой СТ к устью реки Свири через Ладогу, ласковую, летнюю Ладогу. И береговые мысы нежно дрожали от рефракции. Чернели лодки рыбаков, и на отмелях шелестела осока. И мы несколько раз прокачали питьевую цистерну и приняли питьевой воды из-за борта, потому что нет воды чище и вкуснее, нежели ладожская. А те детишки-сироты, которые когда-то утонули здесь, давно уже стали этой водой.

На подходах к Свири я определился по трем маякам – Свирскому, Сторожно и Торпакову.

Маяк Сторожно находится на каменном мысу; где-то здесь прежде существовал Николаевский мужской монастырь, основанный еще в шестнадцатом веке преподобным Киприаном. Этот Киприан был пират. До принятия иночества он содержал на Сторожном мысу разбойничий притон, известный грабежами судов на Ладожском озере. Основатель знаменитой Ондрусовой пустыни Адриан провел с пиратом Киприаном большую морально-воспитательную работу, в результате которой пират раскаялся, стал на путь истины, принял иночество и на месте разбойничьего притона устроил мужской монастырь.

Для современного исторического романиста такой сюжет – клад.

Обогнув Сторожный мыс, мы вошли в Свирь, и тишина лесной плавной реки зазвенела в наших ушах. На девятнадцатом километре Володя Малышев решил устраиваться на ночевку. Мы отдали кормовой якорь и всунулись носом в поросший ольхой островок. Серо-зеленые кроны деревьев закачались над полубаком. И сразу из леса вышел небольшого роста человек и стал возле самой воды у нас под форштевнем. Как будто он знал, что мы завернем сюда ночевать, и ждал нас. Он стоял и молчал все время, пока мы устанавливали сходню и заводили швартов на старый пенек.

Солнце садилось, его лучи косо просвечивали прибрежный лес, зудели комары, и тихо-тихо взбулькивала возле бортов свирская волна. Мы находились в той таинственной стране, которая когда-то называлась Ингерманландия. Это название совершенно невыносимо для детских языков. А я и сейчас не могу его произнести.

Житель Ингерманландии глядел на нас с любопытством и радостью. Он был горбун, в рвани, которую носят пастухи, из распахнутого ворота грязной рубахи торчали седые волосы, а из-под мудрого лба глядели голубые детские глаза. Ему было под пятьдесят. Он сразу сел прямо на землю, когда я слез по крутой сходне с борта нашего СТ. Конечно, он давно привык к бесконечному цугу самоходок, плывущих взад-вперед по Свири, но какая из них останавливалась здесь, возле болотистого острова, вдали от деревень и пристаней? Это только мы имели возможность ночью стоять, а не плыть. Мы были моряками, плохо знали реки, и нам разрешалось не торопиться.

- Здравствуй, отец, - сказал я.

- Здравствуй, - отвечал он, сильно заикаясь. И я, конечно, угостил его сигаретой «Яхта», и он, конечно, долго ее рассматривал, прежде чем закурить.

- Скот пасешь? - спросил я. И в погоне за литературным материалом не пожалел своих штанов, сел рядом на болотистую землю.

- Ага.

- Ты один здесь?

- П-по весне месяц один ж-жил.

- И скучно было?

Он пожал плечами и от смущения снял картуз. Его голова была в струпьях, волосы росли клочьями.

- Это же остров, - сказал я. - Как сюда скот переправляют?

- На каюках.

- А что это такое?

- В-вам встречу за катером каюк шел.

Наконец-то я узнал, откуда пришел в наш язык «каюк» - это нечто схожее с гробом.

- Молока здесь можно купить? - спросил я. Матросы жаловались на недостаточное питание.

- Н-не знаю.

- Как не знаешь?

- Н-не знаю... бригадира надо п-просить...

- А где бригадир?

- За т-той протокой! - махнул он рукой вверх по Свири.

- Как живете-то здесь?

- Хорошо, н-нормально... Сахара т-только нет.

В лесу замычала корова. Пастух встал, надел картуз, сказал:

– Быков б-берегитесь... Б-бодливые у нас быки! – и ушел к себе в Ингерманландию, скучно ему стало от моих скучных вопросов.

Толстый старший механик, отбиваясь веткой ольхи от комаров, спустился на берег и сразу нашел дохлого лося. Дохлый лось лежал в круглой укромной ямке. Стармех тыкал в лося веткой, шкура зверя отставала – он сдох давным-давно. Стармех мучился мыслью, что падаль нельзя употребить на мясо.

На другом берегу Свири дымил костерчик. Кто-то там варил уху.

По исчаванной коровьими копытами болотистой земле прыгали крохотные лягушонки.

И такая тишина, такая заброшенность, такой речной покой были вокруг, что, казалось, напряги слух – и услышишь, как молчат в лесах развалины монастырей и почивают в потайных пещерах святые мощи.

Дизель-динамо для экономии было вырублено. В каюте коптила керосиновая лампа. И запах горелого керосина еще больше обострял ощущение прошлой жизни этой тихой земли.

Странно, что именно здесь, на Свири, в Лодейном Поле, был построен шлюп «Мирный» – корабль самого дальнего русского плавания. С борта «Мирного» Михаил Лазарев увидел берега Антарктиды, натянув тем самым нос Куку.

Строил шлюп корабельный мастер Колодкин. Длиной шлюп был в два раза короче нашей самоходки. Лазарев обошел на нем вокруг света в компании и под началом Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена. Их не испугали мрачные слова Кука: «Риск, связанный с плаванием в этих необследованных и покрытых льдами морях в поисках Южного материка, настолько велик, что я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне. Земли, что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы...»

Пятнадцатого января 1820 года шлюп, построенный на берегах тихой Свири, вышел к берегам Антарктиды. И Беллинсгаузен назвал один из открытых им островов именем Кука.

Крузенштерн мог гордиться своим учеником.

На месте Лазарева я бы назвал какой-нибудь островок и по имени корабельного мастера Колодкина.

«Почти для каждого человека корабль больше, чем какое-либо другое созданное им орудие, – это некое выражение далекого образа. Корабль – это воплощение мечты, и мечта эта настолько захватывает человека, что ни одну вещь на свете он не создает с такой чистотой помыслов... От чувств, которые он вкладывает в свой труд, зависит крепость шпангоутов, прочность киля и правильность выбора и крепления обшивки. В построение корабля человек вкладывает лучшее, что в нем есть, – множество бессознательных воспоминаний о труде своих предков... Корабль – вещь, не имеющая себе подобия в природе, кроме разве сухого листка, упавшего в поток».

Эти слова написал Стейнбек.

В Вознесенье мы получили приказ идти не на Повенец, а на Петрозаводск. Бывает плохо, когда начальство доверяет чересчур. Начальство доверяло Володе Малышеву. И он этого вполне заслуживал, потому что был из лучших капитанов, хотя и самым молодым.

Именно из-за этого нам и приказали идти на Петрозаводск и принимать там груз.

Груз оказался железом – частями старых речных колесных пароходов.

Остовы колесников, с обрезанными колесами, с заваренными наглухо иллюминаторами и дверями рубок, с заведенными брагами, покачивались в Петрозаводском порту, ожидая буксиров. Им также предстояло плавание через северные моря в сибирские реки. А колеса, валы, части кожухов должны были следовать в наших трюмах. Начались погрузка и раскрепление громоздких, многотонных махин – сложная и грязная работа. Мы занимались ею девять дней.

До сих пор не знаю, была мудрость в том, чтобы везти ржавое железо за тридевять морей, или нет. Неужели в Омске нельзя сделать кожух для колеса колесного парохода? Но нас не спрашивали. Нам нужно было так разместить

груз и так его раскрепить, чтобы не потонуть где-нибудь в Баренцевом или Карском море.

Дорога от Петрозаводска была мне уже знакома – еще в пятьдесят пятом я проделал ее на маленьком рыболовном сейнере.

Беломоро-Балтийский канал – одно из самых тоскливых мест на земле.

Архангельские встречи

В Двине предстояло ждать, пока с Дуная подойдут остальные суда перегонного каравана. Стоянка была бездеятельная, монотонная. Я коротал время, читая старинную книгу «Летопись крушений и других бедственных случаев военных судов Русского флота» и пытаюсь скомпилировать рассказ из выражений и фраз старорусской морской речи.

Кажется, за всю стоянку я только единожды без служебной надобности съездил на берег. На берегу купил бутылку вина, с десяток газет и журналов и расположился выпитывать новейшую информацию в сквере недалеко от улицы Павлина Виноградова.

В сквере ремонтировали дорожки, и скамейки были сложены в кучу. Оставалась одна – в запущенном, глухом уголке.

Листва кленов уже желтела, а тополя и липы были зеленые, но тусклые от городской пыли. Кусты шиповника окружали скамейку. В кустах стояла похожая на скворечник сторожка. К ее стене прислонились лопаты и ломы. С улицы приглушенно доносился лязг трамваев и гудки машин. Никого в сквере не было, и я спокойно попивал винцо и читал газеты, сидя на единственной скамейке, а по дорожке прыгали воробьи.

Впереди ожидал меня еще целый свободный вечер, поход в ресторанчик с друзьями, посещение почтамта, какие-нибудь, как всегда надеешься, хорошие письма. Потом мы должны были отправляться в Арктику.

Газетная бумага то светлела, то бледнела, потому что по небу все бежали частые облака, очень белые сверху, но темные, дождевые снизу. Скоро по листьям ударили первые капли. И я залез в сторожку. Там пахло сухим деревом и было приятно читать под шум дождя, еще не холодного, еще летнего дождя. Я и не заметил, как дождь прошел, когда услышал мужской голос:

– Он укусил астру! Вы видите: он кусает красную астру! Берегитесь его, бродяги!

На моей скамейке сидел мужчина средних лет и разговаривал с воробьями. Я хорошо видел его в маленькое окошечко сторожки.

– Большущий кот! – сказал мужчина воробьям. – Он кусает астры только так, для вида, а сам подбирается к вам!

Стайка воробьев, не обращая внимания на предостережение, прыгала по мокрой дорожке сквера. Самые беспечные плескались в большой луже у куста чернотала.

Белый с рыжими пятнами кот метнулся на дорожку сквозь желтые листья куста.

Шурхнув крыльями, разметались кто куда воробьи и сразу принялись звонкими голосами ругать кота.

Кот попал в лужу и досадливо сморщился.

– Они провели тебя вокруг пальца, – сказал мужчина коту и покрутил на указательном пальце крышку спичечного коробка. – Они натянули тебе, сорванцу, нос.

Кот дрыгнул лапой и, вихляя узким задом, скользнул обратно в высокую, мокрую траву газона.

Мужчина заглянул в нагрудный карман своего пиджака и вытащил из него папиросу. Очевидно, это была последняя папироса. Мужчина вывернул карман, встряхнул из него табачные крошки и трамвайные билеты. Потом закурил.

Мне тоже хотелось курить, но я почему-то боялся обнаружить себя. Мне казалось, что это будет неприятно ему. Я видел его худощавое лицо, волосы, налипшие на лоб. Складка на брюках совсем пропала от влаги, парусиновые туфли были в песке.

Я люблю отгадывать профессию человека по его виду, но здесь мне все никак не удавалось подобрать дело, которым он занимался в жизни. У него были широкие плечи и большие руки.

Листва от дождя зазеленела весело. Облачка просветлели и торопились куда-то к морю. По одному робко упали на дорожку давешние воробьи. Но еще качались покинутые ими веточки, когда заскрипел под чьими-то ногами мокрый гравий, и вся компания опять вспорхнула.

Шла женщина.

Когда она поравнялась со скамейкой, мужчина сказал:

– Там дальше тупик. Дальше некуда идти.

Но женщина сделала еще несколько шагов, выискивая что-то взглядом. Ей было лет двадцать пять. Обыкновенная молодая женщина в легком плаще.

– Садитесь, – мужчина показал ей место рядом с собой. – Эта скамейка последняя осталась.

Женщина поколебалась.

– Я не ем человек, – сказал мужчина. – А если очень мешаю вам, то уйду.

Женщина села. Она ничего была в профиль, лучше, чем в фас.

– Нет, вы мне не мешаете, – сказала она, достала из сумки книгу и положила ее на колени.

– Этот белый сорванец опять спрятался за куст, – сказал мужчина и кивнул на белого кота. Он сказал это так, как будто он был давно знаком с этой женщиной,

а она знала все, что давеча произошло с воробьями и котом на этой дорожке.

Женщина удивилась, быстро глянула на соседа, сразу же отвернулась и натянула на кисти рукава жакета. Ей было, наверное, прохладно.

Мужчина стал скручивать папироску, но неудачно – кончик отвалился, за ним просыпался и весь табак.

– Ничего не поделаешь, – вздохнул мужчина и дунул в папиросный мундштук. – Черт! – добавил он после паузы. – Когда-то в детстве я умел делать из таких пустых гильз свистульки. Все забывается. С годами.

Женщина отодвинулась на край скамейки и раскрыла книгу. Мужчина замолчал и долго смотрел, как вываливаются из-за вершин деревьев легкие облачка. Женщина несколько раз неприметно отрывалась от книги и рассматривала соседа.

– Если залезть в траву, вот как этот кот, то оттуда все будет казаться совсем зеленым, правда? – вдруг спросил мужчина. Он по-прежнему разговаривал с незнакомкой так, будто давным-давно знал ее.

Женщина пожала плечами и хотела отодвинуться еще дальше, но было уже некуда.

Мужчина заметил это и смущенно махнул рукой.

– Честное слово, я не хотел вам.. помешать, что ли... Просто так славно все здесь после дождя...

Женщина перевернула страницу.

Ветер качнул вершины кленов. Они зашелестели. Ветер спустился ниже, зарыбил по лужам, и сразу громче раскричались в сквере воробьи.

Мужчина смотрел на свою соседку и водил по губам пустой папиросной гильзой.

Она обернулась.

– У вас пуговица едва держится на обшлаге, – тихо сказал он. – На правом... Вы можете ее потерять.

Женщина решительно выпрямилась и захлопнула книгу.

– Какое вам дело до моей пуговицы, гражданин? – спросила она.

Есть люди, которым не везет с рождения во всем и до самой смерти.

Идет такой человек поздней ночью пешком через весь город, потому что на одну секундочку опоздал к последнему автобусу. Именно на одну секундочку. А опоздал, потому что забыл в гостях спички и было вернулся за ними, но посовестился опять тревожить, а тем временем автобус...

Денег на такси у таких людей никогда не бывает, но ленивые наши, высокомерные ночные таксисты обязательно сами притормаживают возле безденежного неудачника и спрашивают: «Корешок, тебе не на Охту?» А ему именно на Охту, но он отвечает: «Нет, на Петроградскую». – «Ну ладно, – говорит шофер. – Садись, подвезу». – «Спасибо, я прогуляться хочу», – бормочет неудачник. – «В такой дождь? Да ты в уме?!.»

И вот бредет неудачник совсем один по ночным улицам под дождем и все хочет понять, в чем корень его невезучести, и все сильнее хочет курить, но спичек-то у него нет. И вот он ждет встречного прохожего, чтобы спросить огонька. Наконец встречный появляется. Издали виден огонек сигареты. Неудачник достает папиросу, раскручивает ее и уже предвкушает дымок в глотке. И вдруг видит, как прохожий отшвыривает сигарету прямо в лужу. «Ничего, – думает неудачник. – У него спички есть». Но в том-то и дело, что спичек у прохожего не оказывается. Вообще-то он достает коробок, долго вытаскивает спичку за спичкой, но все, до самой последней, они оказываются обгорелыми. А дождь идет все сильнее. И кончается тем, что прохожий вдруг орет: «Черт! Промок из-за тебя, как... как... На коробок и иди...» И неудачник машинально берет пустой коробок и идет к...

Если вы думаете, что настоящие неудачники бывают только на суше в виде пожилых бухгалтеров, или рассеянных студентов гуманитарных вузов, или

одиноких врачей по детским болезням с толстыми очками на добрых глазах, то вы ошибаетесь. Расскажу вам о неудачнике – моряке Мише Кобылкине.

Кличка у Миши, когда мы с ним учились в военно-морском училище, была, естественно, лошадиная – Альфонс Кобылкин. Был он длинный и костлявый, как Холстомер в старости.

На примере Альфонса вы увидите, что невезение подстерегает людей не только на дороге к их личному, собственному счастью и успеху. Нет, Альфонсу не везло как раз на стезе его стремления принести пользу обществу, пострадать даже за общество, попасть, так сказать, на крест во имя спасения других. Именно путь на Голгофу ему никак не удавалось свершить. Каждый бросок Альфонса на помощь человечеству заканчивался конфузом.

Отец Альфонса в войну был генералом. Только поэтому Альфонсу удалось в возрасте неполных шестнадцати лет попасть в полковую школу, откуда вскорости открывался путь на фронт. А именно туда Альфонс стремился. Он мечтал задать фашистам перцу собственноручно.

Но на первом же занятии в поле, когда новобранцы учились швырять учебные гранаты, такой учебной деревяшкой с железным набалдашником Альфонсу врезали по затылку. Очевидно, паренек, который метнул гранату в Альфонса, был не хилого сложения, потому что Альфонс выписался из госпиталя только через год. Он получил нашивку за ранение, приобрел повадки бывалого солдата и отправился на фронт, хотя с чистой совестью уже мог возвращаться домой. Путь на Голгофу пролегал через Бузулук, где Альфонс опять угодил в госпиталь – с брюшным тифом. Характер у него начинал портиться, потому что война шла к концу. Именно этого не учел медицинский майор – председатель комиссии в госпитале.

Дело в том, что Альфонсу совершенно не доставляло удовольствия рассказывать обстоятельства своего ранения элементарной учебной болванкой. А майор оказался мужчиной с юмором и потому стал сомневаться в том, что после такого ранения возможно проволынить в госпиталях целый год. Здесь майор еще добавил, что все объясняется проще, если отец у Альфонса – генерал. Альфонс поклялся майору в том, что докажет ему на опыте истину, и спросил, что тяжелее – учебная граната или графин? Майор сказал, что от графина пахнет штрафбатом. Но это только воодушевило Альфонса.

Он взял графин, метнул его по всем правилам ближнего боя в лысину медицинского майора и угодил в штрафбат. И был искренне рад, потому что не сомневался в том, что болтаться в тылу ему теперь осталось чрезвычайно недолго. Но не тут-то было! На второй день штрафбатной жизни какой-то уголовник ради интереса спихнул Альфонса с трехъярусных нар.

День Победы он встретил с ногой, задранной к потолку, в гипсе, исписанном разными нецензурными словами, с привязанной к пятке гирей.

А где-то в сорок шестом он появился у нас в училище с медалью «За победу над Германией» на груди и потряс всех своим умением засыпать совершенно беспробудно. Вероятно, длительное пребывание в госпиталях выработало у него такую привычку. В госпиталях он еще здорово научился врать. Все фронтовые истории, которые он там слышал, слушали теперь мы. Но надо сказать, что стремление Альфонса взвалить на себя крест и помочь прогрессивному человечеству не угасло. И надо еще здесь сказать, что от настоящего, стопроцентного неудачника расходятся в эфире какие-то невидимые флюиды, которые со временем начинают сказываться на судьбе окружающих.

Наш Альфонс был стопроцентным.

На первых же шлюпочных учениях шлюпка, в которой был он, перевернулась, и все наше отделение оказалось в Фонтанке. Скоро флюиды охватили взвод: все училище поехало в Москву на парад, а наш взвод оставили перебирать картофель в овощехранилище. Потом флюиды опутали роту. Маршируя на обед, мы все – вся рота – дружно упали со второго этажа на первый. Дело в том, что училище размещалось в старинном здании бывшего приюта принца Ольденбургского. За время блокады в здание попало около двадцати бомб и снарядов. И когда мы «дали ножку», торопясь на кормежку, перекрытие не выдержало и рота оказалась в столовой, не спускаясь по лестнице. Разумеется, последним выписался из госпиталя наш Альфонс.

Он уже ничему не удивлялся. Он все время уверял нас в том, что готов страдать в одиночку. И он на самом деле был готов к этому, но только у него это не получалось.

Никогда не забуду его конфликта с Рыбой Анисимовым. Анисимов, огромного роста детина, матрос с гвардейского эскадренного миноносца «Гремящий»,

глубоко презирающий всех нас – салажню и креветок, как он любил выражаться, в клешах метровой парусности, с ленточками ниже пояса, всегда сам делил за обедом кашу. Бачок полагался на шесть человек. Половину бачка Рыба вываливал себе, остальное получали мы. И молчали в тряпочку, хотя было обидно.

И вот Альфонс решил в очередной раз взойти на Голгофу за интересы общества.

– Рыба, – сказал Альфонс. – Сегодня делить кашу буду я. Дай половник.

Рыба чрезвычайно удивился. Большим количеством извилин он не обладал, поэтому думал целую минуту, пока не спросил с угрозой:

– Альфонс, тебе каши не хватает, что ли?

– И не только мне, Рыба, – сказал Альфонс.

– Кушай, – сказал Рыба и надел бачок с пшенной кашей на голову Альфонса. Альфонс сел. Рыба еще постучал по дну кастрюли половником, и снять кастрюлю с головы Альфонса сразу не удалось, она налезла, как говорят артиллеристы, «с натягом». Дело закончилось медпунктом. А мы, мы... опять пострадали вместе с Альфонсом. Ибо решили отомстить за него и устроили Рыбе «темную». Но Рыба был крепкий мужик, и всем нам досталось больше, чем ему одному, не говоря о том, что на шум прибежал дежурный офицер, и мы еще схватили по пять нарядов вне очереди.

Короче говоря, когда мы закончили училище, получили лейтенантские звездочки, по кортику, по байковому одеялу, по две простыни, когда мы перепились на выпускном вечере, поплакали на груди у самых нелюбимых наших начальников, сообщили им сквозь рыдания, что никогда, никогда не забудем светлых лет, проведенных под их мудрым и чутким руководством, и когда наконец поезда загудели, развозя нас к далеким морям, мы вздохнули с облегчением, потому что в ближайшем будущем не должны были встретиться с Альфонсом.

Мы встретились через несколько лет, в годовщину окончания училища, в Ленинграде возле «Восточного» ресторана.

Мы – это старший лейтенант Николай Боков (по училищной кличке Бок), старший лейтенант Владимир Слонов (по кличке Хобот), капитан-лейтенант Анатолий Алов (по кличке Пашка), я (по кличке Рыжий) и младший лейтенант Альфонс Кобылкин.

Как вы заметили, десятилетие изменило количество звезд на погонах нашего невезучего друга в сторону уменьшения.

Все мы несколько огрузили, задубели, но от радости встречи оживились, решили пошалить, встряхнуться. Заказав по сто граммов, повели обычный разговор однокашников. Посыпались номера войсковых частей, названия кораблей, фамилии командиров, рассказы о походах, авариях, сетования на то, что флот теперь не тот, порядки не те, традиции не те, офицеры не те, матросы не те, море не то и даже дельфины куда-то пропали. Одному дрянному шпиону достаточно было посидеть за соседним столиком десять минут, чтобы завалить Пентагон материалом до самой крыши.

Только Альфонс молчал. Наверное, ему было как-то неудобно сидеть и пить со старшими по званию. А когда человек молчит, не рассказывает о том, как провел свой корабль через Центральную Африку, то такого человека и не замечаешь. И мы как-то позабыли Альфонса. Не хотелось нам расстраиваться, выслушивая рассказ о его очередных неприятностях. Но, в конце концов, совесть заговорила в нас, мы сосредоточились на двух одиноких звездочках Альфонса, и Хобот спросил:

– Чего не ешь, лошадь? Надо закусывать.

– Пейте, ребята, не обращайтесь внимания, – сказал Альфонс бодрым голосом. – А я скоро уйду. Если вы проведете со мной еще полчаса, то или попадете на гауптвахту, или здесь обвалится потолок.

– Не говори глупостей, – сказал Пашка и подозвал официанта. – Еще пятьсот капель, папаша!

– Валяй нам все, как на исповеди, младший лейтенант Кобылкин! – сказал я.

– Да чепуха... Так, знаете... Короче, таракан. Обыкновенный таракан. С усиками, рыжий... Пейте, ребята, не обращайтесь внимания.

Но мы оставили рюмки.

– Я уже старлеем был и... вот... Стреляли по береговым целям главным калибром... Сам сидел за башенным автоматом стрельбы... дал залп по сигналу... накрыл близким перелетом своего флагмана... Понизили в звании... теперь на берегу служу, – скупно, но точно доложил Альфонс.

– Прямое попадание в своего флагмана? Это же надо уметь! – сказал я.

– Недаром же Альфонс учился четыре года вместе с нами, – сказал Хобот.

Мы старались чуткими шутками смягчить тяжелые воспоминания Альфонса.

– В сигнальное устройство горизонтальной наводки попал таракан, замкнул контакты, и сигнальная лампочка загорелась, когда орудия смотрели не на цель, а на флагмана. Вот и все, ребята. Как таракан заполз в plombированный блок сигнализации, не знает никто, но кто-то должен отвечать... вот и... Я-то, как вы знаете, ничему не удивляюсь, а флагман удивился, – объяснил Альфонс.

– Обычное дело, – сказал Пашка. – Все флагманы почему-то удивляются, когда по ним всаживают из главного калибра свои собственные эскадренные миноносцы. Выпьем, ребята.

– Ударим в бумеранг! – сказал Бок. И все мы улыбнулись, вспомнив училищные времена. Именно это выражение означало когда-то для нас выпивку.

– Сейчас я уйду, – сказал Альфонс. – А то у вас будут какие-нибудь неприятности.

– Перестань говорить глупости, – сказали мы в один голос.

Единственным способом задержать его было попросить о чем-нибудь – подняться опять же на Голгофу за нас.

Через столик сидела прекрасная женщина со старым и толстым генерал-майором медицинской службы. Всегда, когда видишь молодую женщину с пожилым толстым мужчиной, становится обидно. И сразу замечаешь, как

некрасиво он ест, как коротки его пальцы и как жадно он смотрит на денежную мелочь, хотя ест он нормально, пальцы у него не короче ваших, а смотрит он, естественно, не на мелочь.

От женщины, сидевшей с генералом, пахло духами и туманами. Уверен, что в сумочке ее лежал томик Блока и на ночь она перечитывала стихи о Прекрасной Даме.

- Альфонс, - тихо и несколько скорбно сказал Пашка, - сейчас ты встанешь, подойдешь к их столику, скажешь этой старой клистирной трубке что-нибудь любопытное и уведешь женщину к нам.

- Да, - согласился Бок. - Тебе, Альфонс, терять нечего. А дама - прекрасное существо.

- Девочка - прелесть, - чмокнул губами Хобот. Вы заметили, как перепутались в наш век женские наименования? Пятидесятилетнюю продавщицу в мясной лавке все называют «девушка», хотя у нее пятеро детей. А однажды я сам слышал, как пожилые дорожные работницы, собираясь на обед, говорили: «Пошли, девочки!» «Дамочкой» у нас принято называть этакое накрашенное, легкомысленное существо в шляпке с пером. Но опять же я сам слышал, как кондуктор, выпроваживая из трамвая крестьянок с мешками картошки, орал: «Следуйте пешком, дамочки, потому что у вас груз - пачкуля!» Мне самому сейчас уже вполне порядочно, но каждый дворник или швейцар, запрещая что-нибудь, обязательно говорит: «Топай, топай, парень!» И даже фетровая шляпа не помогает.

- Я могу попробовать, если это вам нужно, друзья, - сказал Альфонс. - Только очень уж я не умею с женщинами. Вам ее телефон узнать?

Вы оцените самоотверженность этого человека, если узнаете, что еще ни одна женщина не спрашивала у него, любит ли он ее, и если любит, то насколько, и как и каким именно образом, и любил ли он кого-нибудь до нее так, как ее. Ни одна женщина еще не отбирала у него полочки и не гнала в баню четыре раза в месяц.

Ведь женщинам нужна в мужчине уверенность в себе, я бы даже сказал, нахальство. А откуда у хронического неудачника может быть уверенность в

себе? Наоборот. Совершенно никакой уверенности у него нет.

Прибавьте ко всему этому еще волевою физиономию медицинского генерал-майора и одинокие малюсенькие звездочки на плечах Альфонса. И тогда вы поймете, какой самоотверженностью обладал наш друг.

– Брось, – сказал я. – Еще рано заваривать такую кашу...

Я, правда, знал, что если человек всю жизнь идет от мелких неудач ко все более крупным, серьезным неудачам, то единственное здесь – перешибить судьбу чем-нибудь таким отчаянным, грандиозным по нелепости поступком. Но дело в том, что здесь могут быть два исхода: один – судьба действительно переломится, второй – судьба с огромной силой добавит неудачнику по загривку.

– Подожди немножко, старая лошадь, – сказал я. – Но не уходи совсем от нас. Ты нам сегодня еще можешь здорово понадобится.

– Как знаете, ребята, я для вас на все готов, – сказал Альфонс.

Таким образом, мы удержали его с нами и повели беседу дальше. Теперь, конечно, тема изменилась. Мы заговорили о женщинах, то и дело испытывали взглядами соседку. Соседка мило тупилась и с большой женственностью пригубливала сухое вино. С генералом ей было явно скучно. И это воодушевляло нас.

Думали когда-нибудь о том, что такое женственность?

Женственность – это качество, которое находится не внутри женщины, а как бы опускает, окружает ее и находится, таким образом, только в вашем восприятии.

Вот на эту тему мы разговаривали, когда генерал стал шарить по карманам, а его дама искать в сумочке зеркальце.

– Ребята, – сказал Альфонс. – Я чувствую, что вам очень хочется получить ее телефон. И я готов попробовать.

Мы не успели его удержать.

Альфонс, заплетаясь ногами и сутулясь, двинулся к соседнему столику.

Не знаю, как рассказать вам, что произошло, когда его длинная фигура попала в поле зрения медицинского генерала. Генерал подскочил вместе со стулом. Потом, когда стул еще висел в воздухе, генерал стал лиловым. Говорить он, судя по всему, ничего не мог. На Альфонса тоже напал столбняк. Они пялили глаза друг на друга и что-то пытались мычать.

- Папа! Папа! - воскликнула девушка. Альфонс, пятясь задом, вернулся к нам.

- Это он! Это уже за пределами реальности! Это ему я запузырил графином по лысине в сорок четвертом!

Мы капнули Альфонсу коньяку, а девушка, от которой пахло туманами, тем же способом успокаивала своего папу.

- Пора сниматься с якорей, - сказал Хобот. - Возможны пять суток простого ареста.

- Чепуха, - сказал я. - Надо довести дело до конца. Надо, чтобы Альфонс сегодня перешиб судьбу! Пусть он совершит что-нибудь совсем отчаянное! Это единственный путь!

- Альфонс, хочешь попробовать? - спросил Пашка. Он был не трезвее меня.

- Да! - мрачно согласился Альфонс. Он впал в то состояние, когда неудачник начинает получать мазохистское удовольствие от валящихся на него несчастий. В таком состоянии человек становится под сосулькой на весенней улице, задирает голову, снимает шапку и шепчет: «Ну, падай! Ну?! Ну, падай, падай!..» И когда сосулька наконец втыкается ему в темя, то он шепчет: «Так! Очень хорошо!»

- Иди и пригласи ее танцевать! - сказал Бок. Учитывая то, что оркестра в ресторане не было, он подал действительно полезный и тонкий совет.

И Альфонс встал. Сосулька должна была воткнуться в его темя, и никакие силы антигравитации не могли его защитить.

Он пошел к генералу.

Скажу честно, я так разволновался всего второй раз в жизни. Первый – когда в Беломорске у меня снимали часы, а я, чтобы не упасть в своих глазах, не хотел отдавать их вместе с ремешком. Не знаю, успел ли Альфонс пригласить девушку на танец или нет, но только генерал с молодым проворством шмыгнул к двери и был таков. Альфонс же уселся на его место, налил себе из его графинчика и положил руку на плечо девушки, от которой пахло туманами.

Мы все решили, что наконец судьба нашего друга перешиблена и все теперь пойдет у него хорошо и гладко до самой смерти. Но мы ошиблись.

– Прошу расплатиться и всем следовать за мной, – предложил нам начальник офицерского патруля. За плечом начальника был генерал.

Мы не стали спорить. Спорить с милицией или патрулем могут только салаги. Настоящий моряк всегда сразу говорит, что он виноват, но больше не будет. Причем совершенно неважно, знает он, что именно он больше не будет, или не знает.

Мы сказали начальнику офицерского патруля, что сейчас выйдем, и без особой торопливости допили и доели все на столе до последней капли и косточки. Мы понимали, что никто не подаст нам шашлык по-карски в ближайшие пять суток. Потом снялись с якорей. Предстояло маленькое, сугубо каботажное плавание от «Восточного» ресторана до гарнизонной гауптвахты – там рукой подать.

Я хорошо знаю это старинное здание. Там когда-то сидел генералиссимус князь Италийский граф Суворов-Рымникский, потом Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьевич Лермонтов, потом в тысяча девятьсот пятидесятом году я, когда умудрился выронить на ходу из поезда свою винтовку...

И вот мы с Альфонсом встретились в Архангельске, когда я ожидал рейсового катера на пристани Краснофлотского рейда. Вместе со мной встречала рейсовый одна веселенькая старушка. Старушка курила папиросы «Байкал» и с удовольствием рассказывала:

– Тонут, тонут, все тонут... Лето жаркое было, купались и тонули. Соседушка наш на прошлой неделе утонул. Всего пятнадцать минут под водой и пробыл, а не откачали. А позавчера сыночек Маруськи Шестопаловой, семь годочков всего, в воду полез, испугался и... так и не нашли до сей поры. Речкой его, верно, в море уволокло. Или, мобыть, землечерпалка там близко работала, так его ковшиком в баржу-грязнуху и перевалило... А третьего дня в Соломбале...

– Бабуся, остановись, – попросил я. До катера оставалось еще минут пять, и я опасался, что одним утопленником за это время станет больше, что я тихонечко спихну эту веселенькую старушку с пристани.

– Не нравится? Бога бояться надо! – злобно сказала старушка. И на этом умолкла.

Когда катер швартовался, я увидел на нем знакомую сутулую фигуру. Это был Альфонс.

Я всегда смеялся над ним, но я всегда любил его. И он всегда знал, что я люблю его. Люди точно знают и чувствуют того, кто любит их. И Альфонс тоже, конечно, знал. Но сейчас он не заметил меня, спускаясь с катера по трапу. Он сразу подошел к веселой старушке и сказал ей:

– Мармелад дольками я не нашел, я вам, мамаша, обыкновенный мармелад купил.

– Так я и знала! – со злым торжеством сказала старуха.

– Альфонс! – позвал я.

Он обернулся, мы обнялись и поцеловались. Он здорово постарел за эти годы. Я тоже не помолодел. И мы куда-то пошли с ним от пристани.

– Ты где? – конечно, спросил он.

– На перегоне, – сказал я. – На Салехард самоходку веду.

– У Наянова? У перегонщиков?

- Да. А ты где?

- Здесь, в портфлоте на буксире плаваю. Меня, как сокращение вооруженных сил началось, так первого и турнули.

- Слушай, - сказал я. - Ведь у тебя отец генерал большой. Неужели ты...

- Батяка уже маршал, - сказал Альфонс. - Только он с мамой разошелся, и я с ним после того совершенно прервал отношения. Я, знаешь, Рыжий, женился недавно. Старушка эта - моя теща, жены моей мама.

- А кто жена-то? - спросил я.

- Вдова она была, - объяснил Альфонс. - Она, правда, постарше меня, и детишек у нее трое, но очень добрая женщина. Ее муж в море потонул, на гидрографическом судне он плавал... А помнишь, как мы тогда на «губу» попали? Из-за медицинского майора?

- Еще бы! - сказал я. - Только не из-за майора, а генерал-майора. И теща с вами живет?

- Ну, а кто же за ней смотреть будет? - удивился Альфонс. - Конечно, иногда трудно, но...

И я подумал о том, что Альфонс умудрился взойти на Голгофу.

Дай все-таки Господь, чтобы такие неудачники жили на этой планете всегда, иначе вдовам с детишками придется совсем туго.

Поплыли

Девятнадцатого августа 1964 года в 08 часов 10 минут я записал в судовой журнал: «Получено разрешение капитана-наставника Ю. Д. Клименченко следовать на городской рейд для получения продуктов». Я сам просил его дать это разрешение. Но на борту не было капитана, и в последний момент я сдрейфил плыть в город. Я знал, что там надо будет соваться носом в грунт, а я не люблю делать такой маневр, не привык к нему.

И в то же время я знал, что через несколько часов нас должны отправить в рейс. Начальство уже приняло такое решение. Архангельск по всяким разным причинам больше не мог терпеть наш караван.

Но корешки для супа, масло и совершенно необходимая для Зои Степановны сметана еще не были получены. И Зоя Степановна, сдвинув очки на лоб и тиская руками фартук, говорила мне, что без сметаны в море не пойдет, пускай ее уволят, пускай ей в глаза соленой водой набрызгают, но она знает, что потом с нее же спросят, и т. д., и т. п.

Под напором Зои Степановны я приказал готовить машины и хотел сниматься с якоря, когда из уютной местной душегубки-лодки высадился на борт Володя Малышев.

Он сунул рубль архангельским мальчикам, которые привезли его с берега, и выслушал мой доклад: «Необходима сметана, караван выпихивают в Мурманский рукав, съемка ранним утром, есть „добро” самим идти на городской рейд. Что прикажете?»

– Снимайся, – спокойно сказал Володя. – А я штаны переодену.

Мы засунули нос в грунт почти в самом центре Архангельска.

– Чифа с берега спрашивают, – услышал я голос вахтенного. Учитывая то, что «чиф» – это старший помощник, пришлось насторожить уши.

– Кто? – спросил я в иллюминатор.

– Женщина. С чемоданчиком, – доложил вахтенный. Он был несколько навеселе. Но я сделал вид, что не замечаю этого. Смешно сердиться на матросов, когда до

выхода в море остается несколько часов, а мы стоим носом в самую середину большого города Архангельска.

Я вышел на палубу и осторожно выглянул через фальшборт. Женщина с чемоданчиком, пришедшая неожиданно, пугает мужчину. А я не самый смелый из них.

Действительно, под нашим форштевнем на куче гравия ожидала довольно милостивая женщина с кожаным чемоданом. Узкая доска, которую мы прихватили еще на судоремонтном заводе в Ленинграде и которая отлично служила экипажу для схода и возвращения на борт, когда мы втыкали нос в берег, стояла сейчас почти отвесно. Ни одна женщина на свете, кроме нашей Зои Степановны, не решилась бы лезть по такой сходне. Поэтому я почувствовал себя в безопасности и сказал:

– Я старший помощник.

– Капецкий? – обрадовалась женщина.

– Да, – сказал я. Только корреспонденты самых массовых органов информации умеют так перевирать фамилии.

– Мне необходимо взять у вас интервью. Я радио.

Приятно поболтать с милостивой женщиной накануне ухода в море. Ей-богу, солгут те, кто скажет, что им безразлично такое развлечение. Так странно и приятно, когда в каюту входит женщина. А ты совершенно не готов к ее посещению. У тебя на грелке сушатся трусики, койка не прибрана. Под столом нагло зияет наклейкой бутылка. А в банке стоят засохшие полевые цветочки, которые ты собрал где-то на берегах Свири и по лености так и не удосужился выкинуть за борт.

Я провел женщину через соседний буксир – там более прилично стояла сходня.

– Товарищ Капецкий, – сказала она, – я читала все, что вы написали. Мы интересуемся тем рейсом, в который вы сейчас отправляетесь. Это прекрасно, что вы не теряете связь с жизнью. Мы будем воспитывать на вашем примере

наших слушателей.

- Хотите выпить? – спросил я у нее.

- Вы так шутите?.. Я на работе.

Морякам было интересно узнать, кто моя гостя и чем мы с ней занимаемся. Матросы один за другим совали носы в каюту и задавали idiotские вопросы.

Она открыла кожаный чемодан и обнажила великолепный магнитофон. Конечно, у нее что-то не завелось и не получилось. Я позвал механика. Минут через пятнадцать бобины завертелись.

- Мы уходим в суровые просторы, – сказал я в микрофон. – Впереди нас ждут испытания, но мы готовы к ним. Мы выполним задание нашей Родины. Нас идет тридцать два судна в караване. Поведет ледокол номер пять. Он приписан к Ленинградскому порту. Потом я надеюсь написать очерк о нашем плавании. Я подниму в очерке вопросы, связанные с вопросами оплаты труда моряков-перегонщиков. Система оплаты слишком сложна, чтобы рядовой моряк мог в ней разобраться. Благодарю за внимание.

Она покрутила свою машину в обратную сторону, и я имел удовольствие выслушать собственную речь. Мой голос после длительной стоянки в Архангельске был почему-то хриплым.

- Счастливого плавания, товарищ Капецкий, – сказала она в микрофон. – Товарищи, вы слышите, как шумит волна у бортов кораблей? Это корабли уходят в море. – Здесь она высунула микрофон в иллюминатор. Там действительно плюхала вода.

На этом эпизоде наша связь с цивилизацией прекратилась.

В 05.00 20 августа мы снялись с якорей и вышли на Салехард из Мурманского рукава реки Северная Двина, имея на борту десять человек экипажа, 24 тонны топлива, 700 килограммов машинного масла и две с половиной тонны пресной воды. Если говорить честно, пресной воды у нас было больше. Исходя из опыта, мы зацементировали фекальную цистерну и приняли пресной воды в нее. По

своему прямому назначению цистерна еще ни разу не применялась, и вода из нее вполне годилась для мытья посуды и физиономий.

Мы все когда-то вылезли на свет божий из соленой купели, ибо жизнь началась в море. И теперь мы не можем жить без нее. Только теперь мы отдельно едим соль и отдельно пьем пресную воду.

Наша лимфа имеет такой же солевой состав, как и морская вода. Море живет в каждом из нас, хотя мы давным-давно отделились от него. И самый сухопутный человек носит в своей крови море, не зная об этом. Наверное, потому так тянет людей смотреть на прибой, на бесконечную череду валов и слушать их вечный гул. Это голос давней родины, это зов крови в полном смысле слова.

В рейсе со мной была книга «Арабы и море». Вот что я там вычитал: «Великая вода. От хеттского слова для нее – вадар и арабского матар (дождь) совсем близко до нашего матер, мать, восходящего к индийской древности».

Хорошо бы составить сборник высказываний великих мира сего о воде и о море. Еврипид писал: «Море смывает грязь и раны мира». Неру просил, чтобы часть его праха развеяли над морем. Туда же навсегда ушел Фридрих Энгельс. А это были разные люди.

Море соединяет континенты и людей, море – такое же серьезное понятие, как земля, смерть, жизнь и любовь.

Я привык думать о море как о разумном существе. Всегда кажется, что оно знает мои мысли и ведает мои намерения. Когда в детстве мама приучала меня верить в Бога, мне также казалось, что он, Бог, знает все, что сейчас во мне. И тут не солжешь. И когда много лет назад мне пришлось тонуть на разбитом корабле и страх сжимал душу, я вдруг понял, что море видит мой страх и это не нравится ему. Я ощутил это своей кожей. Как ощущаешь взгляд, который сверлит тебе затылок через замочную скважину. И постарался вытряхнуть из себя страх. И заорал, хлебая соленую холодную воду, какие-то дерзкие и богохульные слова...

Оно умеет заглядывать в душу, это мокрое соленое существо, которое двигается вслед, которое не знает, что такое покой, которое никогда не может удобно улечься в жесткое ложе своих берегов.

Вот почему с глубоким, торжественным почтением снимаешь фуражку, прочитав в газете: «Во время шторма в районе Азорских островов погиб французский мореплаватель Рене Лекомб, который пытался в одиночку переплыть в небольшой лодке Атлантический океан. Рене Лекомб погиб на 68-й день своего путешествия».

В чем смысл его гибели? Человек всегда хотел доказать себе и всей природе свою великую роль и особую миссию. Часто люди даже не думают об этом. Спросите укротителя в цирке, в чем главный смысл его профессии. Он наговорит с три короба, но сам вряд ли понимает, что дело не в красоте зрелища, не в ритме номера, а в том, что человек, заставляя льва пятиться по буму и перебирать лапами на блестящем шаре, утверждает победу всечеловеческого честолюбия.

Когда молодые люди в первый раз выходят в море и оно болтает их и заставляет отдавать за борт макароны и щи, то молодые люди стыдятся этого, стараются изо всех сил не выпустить макароны из себя. И тогда старые моряки утешают их, говорят, что адмирал Нельсон травил всю жизнь, что, командуя в Трафальгарском сражении, он все время имел при себе матроса с ведром. И что здесь нет ничего стыдного.

Но старые моряки лгут.

Нет такого человека, которому по душе поддаться морю хотя бы в такой мелочи, как обыкновенная тошнота. Человек не хочет уступать морю ни в чем. И оно знает это. И потому с ним надо держать ухо востро.

Караван вышел в Белое море и построился в две кильватерные колонны. Впереди нас расправил белые усы пены «Гвардейск», позади дружной компанией пристроились художники «Верещагин», «Левитан» и «Перов». Справа бодал высоким лбом влажный воздух «Суриков» и плавно покачивалась «Гавана».

Верещагин погиб на «Петропавловске», океан стал его могилой, но вот он вышел из нее и опять качается на бледных волнах Белого моря. Ему привычно сейчас.

Левитан, вероятно, несколько удивлен и радостно взволнован. Уходит в акварельную дымку зеленый Мудьюг, и столько света вокруг, такой простор. И отовсюду из каждой точки этого простора струится волнистый утренний, бессолнечный северный свет. И чистота тонов, и нежность переливов, и белоснежность неподвижной чайки.

Перову не хватает вокруг сюжетности. Раннее утро в Белом море чересчур импрессионистично для него, он строго поглядывает вперед, ему больше понравится в Баренцевом.

Суриков – северный человек, он умеет спокойно смотреть и спокойно ждать. Ему хорошо будет в Карском, когда за бортом появятся первые льдины, с густосизого неба рванутся к черной воде злые снежинки и караван повернет к Оби, к берегам его родной Сибири.

– Ну, вот и поплыли, – сказал Володя Малышев. – Как мы поделим вахты?

Нас было двое штурманов, а в сутках двадцать четыре часа. И без выходных. Правда, за все эти часы платят деньги, и не маленькие. Поэтому перегонщики не любят третьего штурмана на борту. И еще перегонщики не любят торопиться. Чем длиннее рейс – тем больше заработок. Очень неплохо, если ударит шторм и где-нибудь прстоишь несколько суток. В какой-нибудь хорошей бухточке. Если близко нет такой бухточки, то шторма не надо. Совсем тогда его не надо.

– Мне все равно, когда стоять вахту, – сказал я. И мы бросили жребий.

Ему достались все закаты, мне восходы. Он стоял с двадцати часов до двух ночи. Я с двух до восьми утра. Потом опять он шесть часов. И опять я шесть часов. Хватит времени подумать обо всем на свете.

Когда живешь в городе, редко видишь восходы. И забываешь, что они есть.

Утром меня не тянет уйти из дома, а вечером я листаю записную книжку и ищу, кому позвонить, и даже хорошая книга не может удержать меня на месте. Утро – это покой и созерцательность. Вечер – нервное стремление к движению.

Я был рад тому, что много раз увижу, как из ночного мрака будет рождаться день. Правда, около четырех ночи, пока не привыкнешь, очень хочется спать. И кажется, что утро и конец вахты не придут никогда.

В рубке совсем темно и тихо. Редко кто разговаривает. Только кашляют курильщики и потрескивает табак в дрянных сигаретах. И если нет ветра и качки, то как-то совсем не ощущаешь движения судна, потому что давно привык к шуму двигателей и вибрации от винтов...

Около четырех ночи – самое тоскливое время.

Конечно, когда ты плывешь в южном море, это другое дело. Когда небо мерцает звездами, и Млечный Путь мерцает галактиками, и море за бортом впитывает в себя лучи бесконечно далеких миров, тогда другое дело.

Но на Севере слишком редко бывает чистое небо летом. И недостаточно темно. Ночная тьма на Севере летом мутная. И утро вползает незаметно, рассеиваясь в низких тучах. Роса садится на стекла рубки, на сталь палуб, на брезенты шлюпок. И если ты вылезешь на мостик, чтобы взять пеленги маяка, то надо будет рукавом провести по стеклу компаса, ибо на нем тоже будет слабая влага.

И тут ты можешь увидеть большую морскую птицу. И если тебе повезет, она споет тебе песню без слов.

«Я лечу над морем совсем одна, – расскажет птица. – Ветер подпирает мои крылья. Фиолетовые скалы Шпицбергена остались далеко-далеко позади. Я знаю – скоро будет сильный ветер. Очень темным станет море, белая пена зашипит на волнах, серые полосы пены станут качаться на воде. А я буду лететь все дальше и дальше. Я не буду тратить сил. Выпростаю крылья против ветра. И ветер будет держать меня высоко. Очень высоко. Страшное море, огромный океан, пустыня воды и неба будут вокруг меня. А я все буду петь, смотря вниз, выискивая рыбу. Я буду петь, ожидая, когда замечу темный и быстрый извив рыбы. Потом я упаду вниз, бесшумная, и стремительная, и беспощадная. И тело рыбы забьется в моем клюве. И я ударю ее когтями и проглочу, и почувствую тяжесть внутри себя. Огромный океан будет подо мной, и волны в нем будут казаться мне гладкими и слабыми. О, катитесь дальше, волны. Я знаю, вам нет конца. Всегда вы будете бежать все дальше и дальше, синие и голубые, зеленые и серые. Всегда, всегда будет это...»

И ты помашешь вслед птице рукой, вернешься в рубку, зажжешь лампочку над штурманским столиком, желтый круг света плавно заколышется на бело-голубой карте, и вдруг на пустынном тундровом берегу, за сотни миль от ближайших селений, увидишь маленький черный квадратик и прочитаешь: «Изба Никольского». «Кто он? – подумаешь ты. – Жив ли этот упорец и жизнестоец? Или давно умер?» И как-то даже защемит сердце от мысли о нем, об его одиночестве и мужестве.

Интересно на спокойной вахте разглядывать карту. Так много людей оставили на ней свой след. От первых землепроходцев и мореходов до изящной женщины-корректора, которая тронула карту красной тушью еще совсем недавно. Она обязательно кажется тебе изящной – далекая и неизвестная женщина, когда прочтешь внизу карты ее фамилию: Иевлева, Лермогорская... Хорошо, что корректоры чаще всего женщины.

И вот где-нибудь в море представишь, как они утром приходят на работу в гидрографию, поправляют прически, шутят, говорят про вчерашнее кино и садятся к стеклянным столам, включают подстольные лампы, читают «Извещения мореплавателям» и уходят странствовать по всему свету... Они не ссорятся, не завидуют друг другу, не делают гадостей, они довольны работой и зарплатой, и мечта о месте старшего корректора – не главная их мечта. Очень хочется верить во все это, когда вахта перевалила за половину и утро заползает в рубку.

Тишина рассеивается вместе с мраком.

Старший механик Александр Павлович Карев – пожилой, неряшливый толстяк со средним техническим образованием, из кочегаров, уже на пенсии, но пошел в рейс, чтобы подработать; неуверенный в своих знаниях, но нахальный – долго кряхтит и наконец говорит:

– Берешь кастрюлю. В нее – слой тресковой печени, потом слой трески, потом картошечки и сверху – еще печеночки. И в духовку. – Механик чмокает, и у всех нас начинает выделяться слюна.

Есть хотят все. А больше всех – механик. Единственное, что он любит в жизни, – еда. Надо видеть Александра Павловича, когда на борт привозят продукты, и

мясо не влезает в холодильник. Тогда он отодвигает в сторону Зою Степановну, засучивает рукава, вытаскивает из холодильника все и начинает укладывать по-своему. Он тискает замерзшие коровьи сердца, он перебирает кости, он подкидывает в воздух свиные головы и хрюкает от наслаждения. Он не торопится уложить мясо, ему жаль расставаться с ним...

Ни я, ни Зоя Степановна его не можем любить хотя бы потому, что он ест не меньше двух тарелок супа за обедом, а продукты нужно экономить, и отвечает за продукты старший помощник, то есть я.

– Когда я плавал в тридцать третьем году на «Донце», ночной вахте какао давали, и пирожки кок пек, – продолжает свою тему стармех.

Он сидит в правом углу рубки на высоком табурете, положив руки на пульт управления машиной. У нас дистанционное управление. Можно менять число оборотов двигателей и реверсировать их прямо из рулевой рубки.

– Смените пластинку, стармех, – миролюбиво говорю я.

– Лучше бы вы, дед, грелку в нашей каюте наладили, – поддерживает меня рулевой матрос Рабов.

– А ты электрический утюг у буфетчицы возьми, – совершенно серьезно и доброжелательно советует стармех. – Он тоже греет.

Александру Павловичу нельзя отказать в известном юморе. И это единственное, что примиряет с ним.

Рабов не выдерживает и смеется. Стармех доволен удачей и развивает ее:

– В двадцать девятом году в Мурманске очень большой мороз был. Идем мы из кабака. Лошадь стоит, извозчичья, в пролетку запряжена. Мужика нет, а лошади холодно. Мы ее выпрягли и на третий этаж общежития завели. Ну конечно, полундру мильтоны подняли: где лошадь? А попробуй, найди лошадь в общежитии на третьем этаже. Утром мы протрезвели, смотрим – лошадь между коек пасется. Что делать? Кормить ее надо. Был у нас такой кочегар – Наполеон Серенький, и дружок у него был, Адам Хорошенький. Мы их в командировку

отправили – в ресторан за апельсинами. А она апельсины не ест...

Уже совсем светло.

Штиль.

Корабли каравана кажутся неподвижными. Пищит рация.

И вдруг я удивляюсь тому, что это я сижу на тумбе запасного штурвала перед открытым окном ходовой рубки на сухогрузном теплоходе № 760 и слушаю болтовню старика механика.

Почему меня опять куда-то несет по волнам?

2

Двадцать третьего августа 1964 года в два часа ночи я записал в судовой журнал следующее: «Ветер усилился до 5 баллов от норда. Высота волны 3–4 метра. Судно испытывает сильные удары о волну носовой частью днища. Крен на оба борта около 20°. Проверено крепление груза и крышек трюмов. Барашки стопорных механизмов периодически самоотдаются от вибрации».

Когда я лазал в кромешной тьме по трюмам, где скрипело, визжало, стонало, ныло, гремело, мычало, выло, скулило ржавое железо; когда я боялся сорваться в какую-нибудь дыру и напороться на острый железный край; когда я проклинал эту погрузку в Петрозаводске и все эти старые речные пароходы, части которых мы тащили теперь через штормовое Баренцево море; когда от физического напряжения стало у меня побаливать сердце; когда удары волн оглушали долгим эхом в огромной гулкости трюмов, – я подумал о том, что, когда взрослеет моряк, он начинает все осторожнее говорить о море и ветре, о мужестве и трусости, он все больше понимает мудрость молчания и осторожности. Он не торопится говорить, что море – это ерунда и человек господин природы. Он не говорит, что Черное море – это малина и курорт, а вот Карское – очень плохо. Взрослеющий пишущий человек тоже не торопится говорить, что рассказ писать проще, чем роман, и что Лермонтов лучше Пушкина, а Маяковский чересчур социален и тем погубил свой талант.

Вот о чем я думал, вылезая из трюма, проверив крепление груза и проверяя стопора трюмных крышек. И эти стопора на один-два оборота поддавались усилию моих рук, а это значило, что стопора сами собой отдаются от вибрации. И это было нехорошо.

Мое родное Баренцево море шумело и плевало в физиономию мелкой холодной слюной. Я был зол на него. Оно заставило меня лазать по темным трюмам, из-за него у меня побаливало в груди. И я тоже плюнул за борт.

Так вот, я вернулся в рубку, скользя на мокрых ступеньках трапа, вытер носовым платком руки и глаза, взял авторучку и записал те строки в судовой журнал.

А сейчас, когда я перепечатывал эти строки, я подумал о том, что нельзя сказать: «судно испытывает удары носовой частью днища». Если судно получает удар, то его получает все судно. Так же как получает удар боксер, а не челюсть с левой его стороны. И все-таки в свободном записывании чего-то, в непосредственной записи, в безграмотности ее зачастую бывает больше точности.

Наш СТ получал удары именно в носовую часть днища: все судно начинало изгибаться, как змея. Но это была стальная змея, она изгибалась резко, и быстро, и часто, и при каждом изгибе опять шлепалась днищем о встречную волну; и все это складывалось вместе, шло в резонанс и еще к тому же качалось с борта на борт по двадцать градусов. Ничего не было здесь чересчур страшного. Все было нормально. Я просто хочу объяснить вам ту физику, в которой находится человек, если он плывет по Баренцеву морю и пятибалльный ветер на речном судне.

Интересно, что поэт, который написал строчки про физику и лирику, рифмовал их. Если говорить честно, мне кажется, что поэты часто идут в стихотворении за теми неожиданными и странными даже мыслями, которые вызываются на свет божий именно самой рифмой. И только в случае полного, на 180 градусов, расхождения получившейся мысли с главным мировоззрением поэта последний имеет силу отказаться от нее...

«И Дух Божий витал над пустынными водами».

Слова нашего языка витали над остывающей планетой, над кипящими океанами безмерно далекого прошлого. Слова ждали нас миллиарды лет. И мы наконец пришли, чтобы произнести их. Невидимые, они летают в глубинах галактик, уютно живут внутри нейтрино и мезонов. Они ждут нас за каждой гранью познания. Они тоскуют без нас, но мы никогда не сможем произнести их все, как никогда не сможем представить бесконечность времени.

Бред сумасшедшего полон какого-то своего смысла, только смысл этот недоступен нам, как недоступен он и самому сумасшедшему. Случайный набор слов вызывает вдруг напряжение интуиции, эмоций, мозга. Мы чувствуем, что бесконечное сочетание элементов мира должно отражаться в нашем языке таким же бесконечным рядом слов и сочетаний.

Поэзия имеет самое прямое отношение к физике. Поэзия – та влага в глазах, которая смывает пыль. Если влага не омывает глаз, мы слепнем. Поэзия соединяет то, что кажется несоединимым, освещает старые понятия с неожиданного ракурса. Даже хулиганя, поэт интуитивно чувствует за непонятной строкой смысл. Поэт не может доказать существование этого смысла. Он только чувствует его в ритме звуков, в путанице интонаций. Поэт знает, что нет бессмысленных словосочетаний, как ученый знает, что нелепые результаты эксперимента означают не нелепость природы, а ограниченность опыта...

Я приказал увеличить ход, включил прожектор на корму. И приказал рулевому подавать гудком туманные сигналы.

Идущие впереди суда исчезали в тумане, и все, хотя и записывали в журнал, что уменьшают ход, на самом деле прибавляли его: запись в журнале, если произойдет авария, поможет избежать суда – и только. А если увеличишь ход, то будешь видеть идущее впереди судно и, может быть, избежишь аварии. Что избрать?

Туман густел, соседние суда уже пропали в нем, от сырости першило в горле. Никто не разговаривал в рубке, и только боцман временами ругал немцев, которые сделали центральное лобовое стекло неподнимающимся. Туман оседал на стекле мутными каплями, и боцману плохо было видно. А снегоочиститель на стекле лопнул, и мы боялись долго гонять его, чтобы он, не дай бог, не

разлетелся вдребезги.

Глаза болели от напряжения. Нервное дело – идти в густом тумане, особенно в караване, особенно ночью, особенно без радара, особенно в качку. Быстро теряешь юмор и превращаешься в брюзгу.

– Держать вразрез волны от переднего мателота! – приказал я.

– А какой великий выбирал себе путь протоптанней и легче? – спросил боцман. – Зачем держать вразрез, если чем труднее наша дорога, тем больше нам почета? Если бы фрицы, мать их...

Маленький боцман Гумунюк, по прозвищу Отросток, крыл немцев-кораблестроителей по всем статьям.

Ругался он виртуозно, по-боцмански. И был еще нечист на руку. В Лодейном Поле украл с новеньких комбайнов цепи с глаголь-гаками. Это были отличные, удобные цепи. Мы подвесили на них кранцы – автомобильные покрышки, чтобы не мять борта при бесчисленных швартовках и шлюзах Беломорского канала. И я даже похвалил тогда боцмана, ибо не знал, откуда он их стибрил. Потом боцман напугал нас гадюкой.

Теплоход всплывал из морской преисподней восемнадцатого шлюза к сияющим просторам летнего неба. И вдруг высоко над нами раздался женский крик и визг. Оказалось, что женщина чуть было не наступила на змею.

Наш Отросток разволновался, кинул на стенку брезентовые рукавицы с кожаными наладонниками и просил поймать для него гадюку.

И какой-то сердобольный остряк гадюку поймал и швырнул ее на палубу теплохода. Змея прямым ходом сунулась в пожарную магистраль, но боцман успел схватить ее за хвост, обрадовался и запрыгал по трюмам в индейском танце. Здесь старик механик напал на боцмана, отнял гадюку и пустил ее плавать за борт. Отросток расстроился так, будто получил повестку из военкомата.

– Зачем тебе змея? – спросил я.

– Я посадил бы ее в банку, кормил, изучал, – объяснил он.

Как ни странно, этот пройдоха и ворюга много читал. Я часто заставлял его с книгами знаменитых романтиков прошлого века. И как-то слышал боцманский рассказ о прочитанном в кругу матросов: «Французы на высоте романы сочиняют... Вот, например, у этой волосанки Франсуазы был хахаль Альфред. И вот она из-за любви лапти откинула – и с концами, в ящик. А граф передал ее письмо этому волосану барону. Барон – копыта в сторону и только через час очухался... Или вот „Дон Жуан“ у Байрона, между прочим – в порядке поэмка. Этот Дон тот еще волосан был, и все бабы у него на крюке были...»

Больше всего боцман боится военной службы. От нее он и удрал на перегон.

– Да ты, боцман, не переживай, – утешил его однажды механик. – Тебя в армию не возьмут.

– Почему так думаешь? – с надеждой спросил метровый Отросток.

– Точно знаю.

– Ну?

– Так ведь когда ты винтовку к плечу приложишь, так пальцем до спускового крючка не дотянешься, – объяснил механик.

3

На дневной вахте капитан обнаружил плавающую мину. Для идущих сзади судов – чтобы они обратили на эту мину внимание – мой капитан выпустил две красные ракеты. Никто, конечно, этих ракет не заметил.

– Это не была мина, Владимир Евгеньевич, – сказал я, принимая вахту.

– Я видел ее своими глазами, Виктор Викторович.

– Это была бочка из-под селедки, Владимир Евгеньевич, вы никогда не были военным и потому не знаете, что в...

– Это была нерпа, – сказал старший механик. – Я отлично видел.

– Это что-то не круглое, а четырехугольное, – сказал Рабов. – Зуб отдаю.

– Ясное дело – поплавок от сетей, – сказал второй механик.

– Это была плавающая мина! – заорал наш капитан и ушел из рубки, хлопнул внизу дверь.

Еще около часа мы грызлись на почве этого плавающего предмета. Потом я удалил лишние из рубки и включил радио. Передавали сообщение о переговорах по созданию объединенных ядерных сил НАТО. Меня чрезвычайно интересует создание этих сил. Ведь речь идет о морских делах.

Я не знаю, как там договорятся политики и дипломаты. Может, они и сунут длинный немецкий палец на ракетно-атомную кнопку. Меня интересует другая сторона вопроса: каким макаром там будут договариваться моряки. Уж их-то я знаю, моряков.

Почти каждый моряк убежден в том, что он хороший, стоящий моряк. И в этом все моряки мира одинаковы. И если за бортом мелькнул какой-то предмет с такой скоростью, что никакой человеческий глаз разглядеть ничего не мог, то здесь происходит то, что случилось у нас на дневной вахте. Ни один настоящий моряк никогда не повторит мнения своего коллеги. Каждый найдет именно свое, наиболее точное, абсолютно истинное объяснение мелькнувшему предмету.

Я представляю себе натовский ходовой мостик и немецкого, английского, турецкого, норвежского и американского штурманов с секстанами в руках. По свистку капитана в единый момент они вскидывают секстаны и прицеливаются на солнечный диск. Потом бросаются к таблицам и арифмометрам. И хоть на сотую мили, но у всех будут разниться результаты. Тут уж просто сработает теория вероятности. Но ни один настоящий штурман в глубине своей морской души не согласится с другим. Разве может британский моряк смириться с тем, что немец или турок лучше него знает астрономию? Настоящий британский штурман скорее повесится на ноке рея. И то же самое сделает настоящий

немецкий штурман на другом ноке того же рея. Или я ничего не понимаю в морских делах, или на следующем рее повиснет турок. И ничего с этими ребятами никакой политик и дипломат поделать не смогут.

Между прочим, Ной был умен, как бес, когда набрал в ковчег слонов, обезьян и других зверей и не взял ни одного штурмана. Иначе в самый разгар потопа, когда над Араратом было два километра воды и голубь еще ни разу никуда не летал, этот ковчег обязательно бы нашел риф и распорол бы себе днище. И мы бы так и остались без зверей на веки вечные.

Но это еще только о «морской интуиции» и штурманском самолюбии. А каждое порядочное государство имеет на военном флоте свои святые традиции. Морская традиция – вещь чрезвычайно сложная, уходящая в глубь веков и до того уже на каждом флоте запутанная, что даже знатоки иногда чешут затылки не одну неделю. Святыни флагов, вымпелов и торжественных салютов, церемонии прибытия и убытия адмиралов, сигналы побудок и способы мытья палубы – все эти вещи так усваиваются организмом настоящего моряка, что передаются по наследству.

Мне так хочется чем-нибудь помочь морякам с объединенных кораблей НАТО, что я посоветую им заняться историей моей родины. Ведь западным политикам и в голову не приходит, что волею небес в России два века назад уже существовали смешанные экипажи. И посмотрите, что из этого получилось.

Перенесемся в июль 1725 года на кронштадтский рейд, на эскадру генерал-адмирала графа Апраксина. Адмирал этот, по выражению профессора Ключевского, был самым сухопутным из всех возможных, однако большой хлебосол. Российский флот, по выражению того же профессора, «донашивал гангутские паруса», а отличался от других флотов большим количеством адмиралов. Он и сейчас этим отличается – по традиции.

Итак, граф имел свой флаг на семидесятишестипушечном корабле «Святой Александр».

Независимо от флага генерал-адмирала, на эскадре развевались еще два адмиральских флага: вице-адмирала Вильстера на корабле «Леферм» и контрадмирала Сандерса на корабле «Нептунус». Наконец, на корабле «Св. Александр» кроме его командира немца Лоренца сидел его капитан-командор

англичанин Бредель. Британец должен был, согласно своему чину, командовать бригадой, то есть двумя-тремя кораблями, но их для него не хватило, и, таким образом, у «Св. Александра» оказалось на борту трое начальников: сам Апраксин – русский генерал-адмирал, англичанин капитан-командор Бредель и непосредственный командир корабля немец Лоренц.

Учитывая португальское происхождение контр-адмирала Сандерса и датское происхождение вице-адмирала Вильстера, вы видите, что я вас не обманул и у объединенных сил НАТО на самом деле уже были предшественники.

Все эти адмиралы и капитаны честно служили русскому флагу и старались изо всех сил, но эскадра, начав кампанию 14 мая, и к концу июля еще ни разу не смогла выйти с рейда на море и занималась пушечными экзерцициями в виду родных берегов.

На корабле «Св. Александр» положение было самым отчаянным. Ничто так не портит характер морского начальника, как присутствие на том же корабле еще других начальников. Капитан-командор Бредель, длинный и тощий британец, терпеть не мог командира корабля, толстого немца Лоренца. Из-за нехватки кораблей Бредель страдал комплексом неполноценности.

Вечером того дня, когда происходило дело, капитан-командор и несколько молодых русских офицеров – князя Белосельский, Барятинский и Одоевский – сидели за бизань-мачтой и ужинали, попивая портер – английское, весьма крепкое черное пиво особой варки.

Погода стояла отличная. Разговор, естественно, вертелся вокруг разных морских традиций.

– Можно ли на кораблях британских женщину за борт заводить? – поинтересовался князь Одоевский, подливая капитан-командору портера.

– Только королеву! – торжественно отвечал англичанин.

И они дружно выпили за королеву.

– А разрешите ли вы, сударь, нашей сикиморе сие нарушение флотских традиций? – спросил князь Белосельский, подразумевая под «сикиморой» немца Лоренца. Он позволил себе такое выражение о своем командире, зная, что этим только доставит удовольствие капитан-командору.

– Никак того не разрешу! – сказал англичанин.

– А знаете ли вы, сэр, что Лоренц на берег за женой шлюпку послал? – спросил князь Одоевский.

– Нет, – отвечал британец, бледнея от одной мысли, что женщина может ступить на трап корабля.

– Да-а-а, – сказал князь Барятинский. – На море, на океане, на острове Буяне, стоит бык печеный...

– ...с одного боку-то режь, а с другого макай да ешь! – многозначительно закончил длинную фразу за приятеля князь Одоевский. Языки у всех уже изрядно заплетались. Англичанин, конечно, ничего в таком высказывании не понял, но уловил как бы некоторое сомнение в его решимости не допустить на борт супругу немца. На нашем языке: «слабо?».

– Кто Богу не грешен, царю не виноват, – на всякий случай сказал британец. – А фрау Лоренцеву на корабль не допущу!

– В слове джентльмена сомнений не имеем, – успокоил его князь Белосельский.

Все они знали, что по русскому уставу разрешалось привозить на борт законных жен, если корабль находился при гавани. Таким образом, эти молодые балбесы подготовили себе развлечение на вечер. Дружны они были еще с времен знаменитой школы Глюка – первого российского общеобразовательного заведения, которое князь Куракин определил как «Академию разных языков и кавалерских наук на лошадях, на шпагах».

Здесь должен еще заметить, что наличие трех начальников вместо одного, как правило, расстраивает нервы у всего экипажа, ибо матросы совершенно путаются, какой приказ и какого начальника надо выполнять в первую очередь.

Офицерский же корпус нервы сохраняет в порядке, но разбалтывается сам, ибо поле для стравливания начальников и соблазн для всяких провокаций слишком велики.

Показалась шлюпка, в которой копошилось что-то чрезвычайно пестрое, увитое лентами. А на палубе показался командир «Св. Александра» Лоренц, чтобы встречать свою супругу.

Британский капитан-командор сидел, всем своим невозмутимым видом выказывая главные качества подданных английской короны: хладнокровие и точность расчета. Он встал с места только тогда, когда жена Лоренца уже поднялась по трапу на палубу.

– На кораблях женщин иметь не положено, – процедил англичанин.

Но немец не был бы немцем, если б не знал регламентов назубок.

– По Морскому уставу, сэра, книге четвертой, главе первой, артикулу тридцать шестому, жен своих на рейде и реках иметь не запрещено, – доложил Лоренц.

Какой настоящий моряк не взъярится, если услышит из уст подчиненного упрек в незнании морских регламентов?

– Молчать! – заорал Бредель. – Кто на корабле «Сант-Александр» старший начальник? Я или ты? Прочь с корабля, каналья!

Но здесь Лоренцева жена, будучи женщиной русской, стерпеть не смогла.

– На кого ерыкаешь, басурман?! – спросила она. – Пустобрех несчастный, пустовраль, мздолюбец, пустоврака, пустоболт, хлыст, пустоплюй!

И никто не успел ее пресечь, потому что, вы сами знаете, когда офицерская жена открывает пальбу, то ведет ее со скоростью современного зенитного автомата.

Британец опешил. А немец страшно перепугался, воспользовался замешательством британца и потащил супругу в укрытие – к себе в каюту.

– Что ты наделал, дура! – говорил он ей на ходу. – В российском Морском уставе, главе четвертой-надесять, в артикуле сто шестом, напечатано: «Ежели кто против бранных слов боем или иным свойством отомщать будет, оный право свое на сатисфакцию тем потерял и, сверх того, с соперником своим вместе в наказании будет!» Из-за тебя право на сатисфакцию я теряю; молчи, курица – не птица, баба – не человек!

Русские князья тихо корчились за бизань-мачтой, но, когда капитан-командор вернулся к ним, они приняли вид почтительный и сочувствующий.

Бредель, вернувшись, как всякий мужчина, чтобы успокоить нервы, выпил вина и сказал, что, если б все происходило на корабле Ее Величества, он бы знал, как поступить, и всадил бы пулю из пистолета в немца, прямо в толстый его, неспортивный живот.

На что молодой балбес князь Одоевский ответствовал:

– Сэр, пулю и дурак всадит, а вот позабавиться с супругой Лоренцевой вы имеете полное право, как вы есть на этом корабле старший.

– Так точно, сэр капитан-командор, – подтвердил князь Белосельский. – По нашего отечества варварским законам такое право вы полностью имеете...

И тем опять заронили в пьяную британскую голову вредную мысль.

Тем временем Лоренц с супругой взошли в каюту. Взволнованный Лоренц закурил трубку и сел на галерее, все повторяя, что курица – не птица, а баба – не человек. Супруга же его, которая от переживаний сильно разгорячилась, сняла с себя сразу тяжелые фижмы? и выплетала из волос ленты; и только шпильки, которыми был полон рот ее, мешали ей сказать супругу, что она о нем думала.

Бредель выпил еще и приказал караульным идти в каюту к Лоренцу и привести к нему супругу Лоренцеву, чтобы он, капитан-командор Бредель, с ней мог позабавиться. Приказ этот британец отдал громким голосом, и Лоренц слышал у себя на галерее каждое слово. Тут уж немец забыл про книгу пятую Устава, и про главу четвертую-надесять, и про артикул сто шестой. Не будучи в силах от волнения говорить по-русски, командир корабля «Св. Александр» Лоренц

свесился с галереи и начал по-немецки упрекать англичанина:

– Ты сам женат, сударь, у тебя дочь взрослая. Гунсафт ты, если позорить честь честного русского офицера!

Немцы на русской службе часто забывали про то, что они немцы, а «гунсафт» по-немецки всего-навсего подлец, но англичанин по пьяному делу всего этого не понял, схватил шпагу и вызвал наверх караул. Поставив у дверей каюты Лоренца двух часовых, он объявил Лоренца и жену его арестованными.

– Я доброго отца дочь и доброго мужа жена, а ты бездельник! У тебя и кораблей-то в подчинении никаких нет! – закричала ему в ответ госпожа Лоренц и запустила сверху в капитан-командора яблоком.

– Фалл ундер! – заорал по-голландски капитан-командор, что по-русски в дотошном переводе обозначает: «Берегись предмета, падающего сверху!» – и что с тех пор стало в виде «полундры» обозначать шум и бедлам, недостойные быть на борту корабля.

Бредель потерял всякое соображение о происходящем и бросился бежать в каюту Лоренца, размахивая пистолетом.

– Эк его сбужыкало! – пробормотал князь Одоевский, несколько даже трезвея от накала страстей вокруг.

– Однако во флоте Ее Величества не зря бабам вход на корабли заказан, – поддержал приятеля князь Барятинский.

И они тяпнули еще по одной, ожидая развития событий. Ибо вмешиваться в отношения вышестоящих начальников ни один уважающий себя моряк никогда не позволит. Здесь главный морской шик – показать такой вид, будто ты ничего не видел и не слышал.

Призвав четырех русских гренадеров, англичанин ворвался в каюту Лоренца и приказал держать немца покрепче, а госпожу Лоренц, которая была полуодета, приказал вышвырнуть в шлюпку и отвезти на берег. Ошеломленные русские гренадеры, видя расшвырявшегося английского капитан-командора, не слушали

возражений командира корабля немца Лоренца, который, ссылаясь на главу третью Устава пятой книги, девяносто девятого артикула, из последних сил орал, что ежели офицер товарища своего дерзнет бить руками или тростью на корабле, то лишен будет чина и написан в матросы...

Капитан-командор уже ничего не слышал. И по всем правилам хорошего английского бокса всадил немцу под микитки. Жена же Лоренцева от русских гренадеров отбивалась стойко, тыча в мужицкие хари китовым усом, который тогда для распяливания фижм применялся.

– Любострастную тебе, бритт, болезнь! – еще успевала она приговаривать, отбиваясь от русских гренадеров. – Болезнь тебе, от плотских похотей происходящую, французскую, дурную, постыдную! Блудливый ты кот, а не военного пятого класса офицер!

Гренадеры – на что они и гренадеры – все-таки справились с супругой Лоренцевой и отволокли ее в шлюпку, а капитан-командор кидал за ней с борта ее фижмы и другие принадлежности женского туалета того времени.

Разбор дела между Бределем и Лоренцем был поручен Особой комиссии, состоящей – под председательством вице-адмирала датчанина Вильстера – из шаутбенахта португальца Сандерса и капитанов: француза Барша, немца Трезеля, испанца Вильбоа и шотландца Бенса. Комиссия определила назначить над Бределем форменный суд. Председателем суда был назначен итальянец Сивере, ассессором – контр-адмирал немец Фангофт и аудитором, то есть делопроизводителем военного судопроизводства, – чиновник, русский человек, Зыбин.

Интернациональное это судилище, используя российские законы, никак не могло определить, в какую сторону – британскую или немецкую – склонить чашу весов, и потому заседания шли целый год. И наконец рассудили: «Написать капитан-командора Бределя в матросы на два месяца и выплатить из заслуженного его жалованья по окладу капитана Лоренца за шесть месяцев и отдать это Лоренцу с распискою. А с правого требовать по три копейки с полученного рубля. А что касается до оскорбления жены Лоренцевой словами Бределя, то, по нашему мнению, настоящее суду не подлежит».

Немец Лоренц с англичанина деньги получил, но отдать в русскую казну по три копейки с рубля, естественно, отказался, вышел в отставку и уехал к себе в неметчину, бросив супругу в России.

А теперь проследим за дальнейшими боевыми успехами эскадры.

И пусть расскажет о них сама наша матушка-императрица.

Вот что Екатерина Великая писала 8 июня 1765 года первому министру Панину после смотра Кронштадтской эскадры: «...У нас в изобилии и кораблей и людей, но нет ни флота, ни моряков. В ту минуту, как я подплывала к штандарту и корабли стали проходить, отдавая мне салюты, двое из них чуть не погибли по вине своих капитанов. Один попал кормою

в снасти другого, и это, может быть, всего в ста туазах от моей яхты. Затем адмирал хотел, чтобы они держали линию, но ни один корабль не мог этого сделать. Наконец в пять часов пополудни подошли к берегу для бомбардировки предполагаемого города... До семи часов вечера стреляли ядрами и бомбами безрезультатно, и наконец мне это надоело... Я просила адмирала не упорствовать больше в том, чтобы сжечь остатки этого города, потому что, прежде чем стрелять, привязали предусмотрительно в разных местах на берегу пороховые нити, которые не замедлили произвести должный эффект лучше, чем бомбы и ядра. Вот все, что мы видели в этом плавании. Надо признаться, что они больше похожи на флотилию, которая ежегодно выезжает, из Голландии для ловли сельдей, чем на военный флот».

Кто хочет ознакомиться с подлинными материалами всего этого дела, может взять «Сборник морских статей и рассказов» – приложение к морской газете «Яхта» за ноябрь 1877 года и прочитать документы своими глазами.

4

Если вы думаете, что на следующей вахте мы не спорили о плавающей мине, то ошибаетесь. Все время, пока я принимал вахту у капитана, мы пытались убедить друг друга. И, конечно, не убедили.

Потом я опять слазал в трюм и увидел, что сварочные крепления железа в первом номере частью начинают отлетать. Ветер все жал от норд-веста. Качались мы до двадцати одного градуса на оба борта, и ходить по рубке было почти невозможно от резкой, рывками, этой качки. А я люблю ходить на вахте. Тогда быстрее проходит время.

После вахты я немного почитал «Праздник, который всегда с тобой». И, как всегда, с первых слов Хемингуэя у меня защемило душу. Когда открываешь настоящую книгу, начинаешь медленно погружаться в нее, то появляется томительное ожидание красоты, предчувствие той красоты, которая ждет тебя где-то впереди в жизни. И так веришь в то, что эта красота обязательно войдет в твою жизнь, что даже почему-то становится печально. И чувство благодарности к писателю пощипывает глаза.

Я болтался в своей койке где-то посередине Баренцева моря, тепло укрывшись одеялом поверх одежды (мы снимали только сапоги). Удобно горела над головой коечная лампочка.

У меня не было никаких забот, кроме заботы встать через шесть часов на вахту и отстоять ее честно. Моя совесть была более-менее покойна. Волна – я слышал это по звуку – становилась меньше.

Я читал о Париже и был полон предчувствием той красоты, которая еще обязательно ждет меня впереди. Хемингуэй грустил о своей первой жене. О первой жене часто грустят в старости. Интересно, как относятся к этой грусти вторые жены? И хорошо и плохо быть второй женой большого писателя, и я думал о том, что только одну женщину мужчина берет с собою в могилу и в полет к звездам. И так, очевидно, положено от Бога.

В «Празднике, который всегда с тобой» Хемингуэй много писал о еде. Он запомнил на всю жизнь, где, что и как они с первой женой ели. Он говорит, что голодал тогда. Сейчас многие на Западе подробно пишут о еде и питье и других плотских штуках. Я все-таки думаю, что они подробно пишут еду и питье не потому, что они голодали. Их голод – просто обжорство рядом с тем голодом, который знают в России. Хемингуэю даже не снился тот столярный клей, который мы ели в блокаду. А я как раз поэтому не люблю писать о еде. И совершенно не помню, где и что ем за день. А он точно запомнил то, что ел сорок лет назад в Париже. Дело тут не в голоде, а в том, что западные писатели через еду, вино и женщин хотят передать плотское ощущение жизни, ее

материальность, плотность, вкус.

Читая «Праздник», я еще подумал, что Хемингуэй кое в чем начал повторяться. Только Толстой ни разу не повторился в своих художественных книгах из-за старости. Если он повторялся, так делал это вполне сознательно.

Хемингуэй был честным перед самим собой. Он не боялся плохого в себе, потому что всегда боролся против плохого в себе. И если он чего-нибудь не понимал, то спокойно говорил об этом. Потому так сильно любят его книги у нас сейчас. Конечно, он был немного анархистом, когда писал: «Я сам часто и с удовольствием не понимаю себя», но если убрать «с удовольствием», то какой честный человек не повторит этих слов за ним?

Его герои часто одиноки, хотя он и сказал, что человек не может один. Его герои могут одни. Наверное, это оттого, что сам он всю жизнь сражался один. А сам он есть в любом его герое. Он писал: «Настоящее писательское дело – одинокое дело... Писатель работает один... именно потому, что у нас в прошлом было столько великих творцов, современному писателю приходится идти далеко за те границы, за которыми уже никто не может ему помочь». И с ним вместе уходили в далекое одиночество его герои. Быть может, потому он и пустил себе пулю в лоб? Очень тяжело долго сражаться в одиночку, амортизация души должна быть огромной, усталость тоже.

Я прочитал страниц двадцать и уснул, очень какой-то просветленный от хороших предчувствий.

И вполне естественно, что мне приснился Хемингуэй.

Я был у него в гостях. Я сидел на диване, а он на стуле. И вокруг было очень много вещей. Он был добр со мной, ласков и жаловался на старость. Потом он встал и ходил по комнате, глядя на меня, говоря какие-то точные слова, разделенные длинными, медленными паузами.

А я знал, что он мертв, хотя и ходит по комнате, говорит со мной. И, как всегда, когда видишь во сне покойников, было странно и чуть жутко – и в то же время преувеличенно спокойно. Он чем-то напоминал мне отца.

Он ушел в другую комнату, легко занимаясь своими делами в моем присутствии, не тяготясь мною. А я стал смотреть на картину. Она висела передо мной. Голые ивы, изогнутые от долгих ветров, черные их стволы. И во сне, ожидая его возвращения, я думал о том, как хорошо бы попасть в такой ивовый лес и с ним вместе. И как вкусно он приготовил бы колбасу в огне костра. Как он не торопился бы ее есть не поджарив. А я всегда тороплюсь и ем что попало и как попало. А он бы ее хорошо приготовил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/koneckiy_viktor/solenyy-led

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)